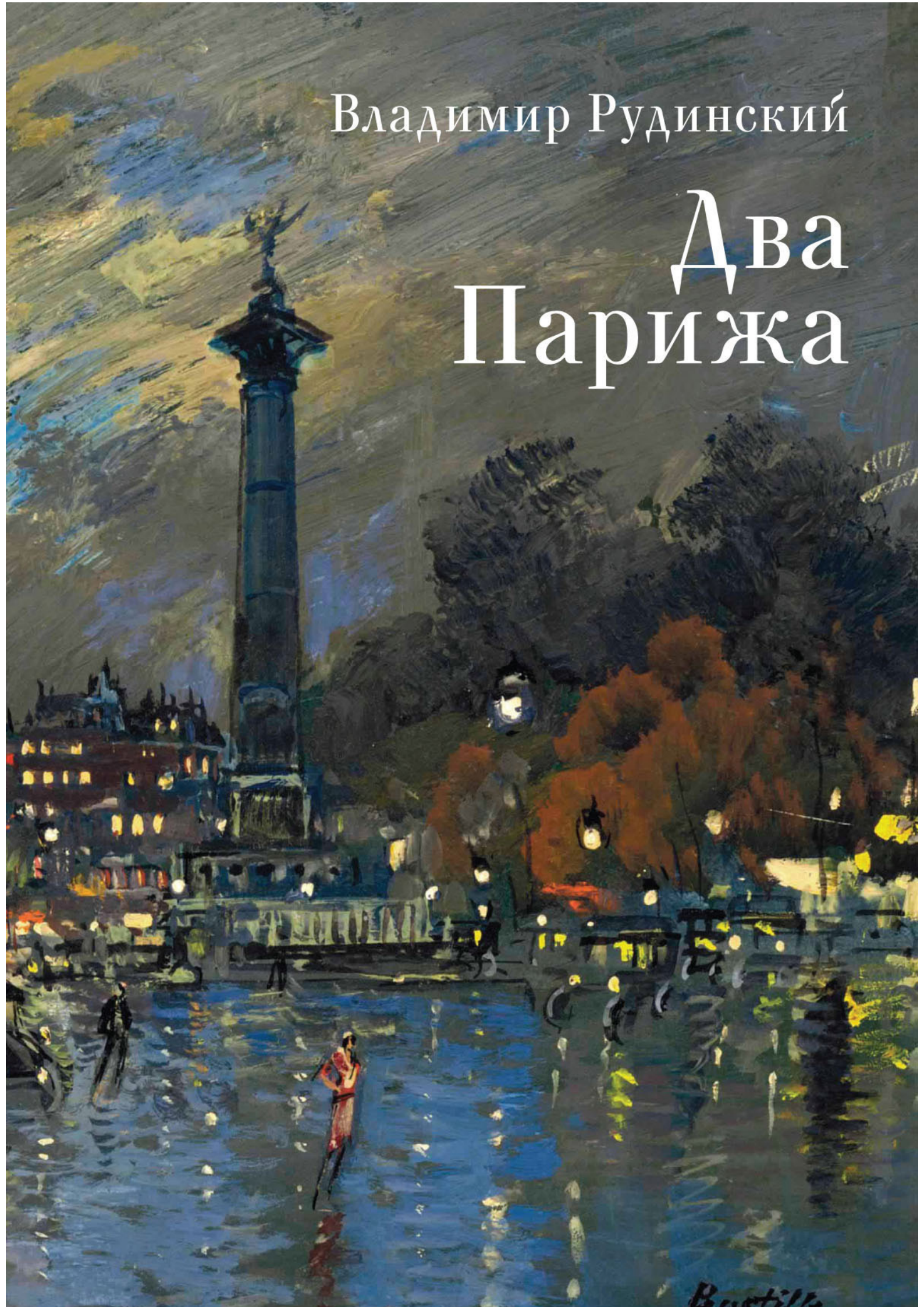


Владимир Рудинский

Два Парижа



Bustille

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Владимир Рудинский
Два Парижа

«Алетейя»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рудинский В.

Два Парижа / В. Рудинский — «Алетейя», 2022 — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-00165-491-9

Основу сборника Владимира Рудинского (настоящее имя Даниил Петров; Царское Село, 1918 – Париж, 2011), видного представителя «второй волны» русской эмиграции, составляет цикл новелл «Страшный Париж» – уникальное сочетание детектива, триллера, эзотерики и нравственно-философских размышлений, где в центре событий оказываются представители русской диаспоры во Франции. В книгу также вошли впервые публикуемые в России более поздние новеллы из того же цикла, криминальная хроника и очерки, ранее печатавшиеся в эмигрантской периодике.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-491-9

© Рудинский В., 2022
© Алетейя, 2022

Содержание

Писатель, этнограф, монархист и русский парижанин	6
Страшный Париж	10
Колдунья	10
Руки из пустоты	23
Любовь мертвеца	26
Хранитель	33
Вампир	36
Дача в лесу	44
Мелкая нечисть	47
При исполнении обязанностей	54
За городом	57
Дьявол в метро	70
В борьбе с трупом	72
Допрос	81
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Владимир Рудинский

Два Парижа

© А. Г. Власенко, М. Г. Талалай, составление, научная редакция, комментарии, 2022

© Н. Л. Казанцев, статья, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

* * *



Русский Париж, 1930-е годы

Писатель, этнограф, монархист и русский парижанин

Я очень рад предложить вашему вниманию третий сборник произведений самого плодотворного, многогранного и работоспособного (публиковал статьи в течение 63 лет!) сотрудника аргентинской газеты «Наша страна», – Даниила Федоровича Петрова.

Активнейший монархический деятель; верный сын Зарубежной Церкви; талантливый писатель; крупный ученый-лингвист, владевший десятками языков, обладавший энциклопедическими познаниями и совершенно феноменальной памятью; светлый ум, предлагавший аналитические обзоры литературы и событий, связанных с русской эмиграцией и Россией, до последнего дня своей долголетней жизни (а прожил он без малого 94 года), Даниил Федорович Петров представлял собою целую эпоху в жизни русской эмиграции, являлся ее богатейшим олицетворением. Рудинский блестяще писал на все затрагиваемые им темы, ум его был столь же острым, как и его перо. А какие ясность суждений, отточенность и богатство языка!

Свой путь журналиста, литературоведа и ученого-лингвиста Даниил Федорович начал сразу же после войны, как только оказался в эмиграции, и поскольку писать под своим именем было опасно, он выбрал себе псевдоним «Владимир Рудинский». Примерно в то же время появился другой его персонаж, «Аркадий Рахманов». С тех пор все его статьи выходили под псевдонимами, исключение он делал лишь для научных лингвистических статей, которые подписывал своей настоящей фамилией.

Даниил Федорович писал под целым рядом псевдонимов: Владимир Рудинский, Аркадий Рахманов, Геннадий Криваго, Виктор Штремлер, Елизавета Веденеева, Савва Юрченко, Вадим Барбарухин, Гамид Садыкбаев. Его многочисленные персонажи-псевдонимы жили как бы своей жизнью, в разных странах, и отвечали за различные тематики и направления. Это был целый мир непохожих друг на друга личностей. Так, парижанин Аркадий Рахманов писал исключительно на лингвистические темы и вел в «Нашей Стране» рубрику «Языковые уродства», неустанно борясь за чистый и правильный русский язык, и резко и непримиримо критикуя всевозможные модернизмы, новояз и просто лингвистические ляпы, допускаемые писателями и журналистами, как отечественных, так и русского зарубежья. Канадец Гамид Садыкбаев вел рубрику «Монархическая этнография» и публиковал исследования по истории народов России дореволюционного и советского периодов. Савва Юрченко из Швеции был, наряду с Владимиром Рудинским, ведущим литературоведом газеты и был ответственным за рубрику «Среди книг». Геннадий Криваго из Италии, Виктор Штремлер из Греции и лондонец Вадим Барбарухин выступали с краткими заметками и письмами на разные темы, принимали участие в рубрике «Трибуна читателя», печатали дополнительные комментарии на темы, уже разобранные Владимиром Рудинским. Иногда персонажи эти не соглашались друг с другом, спорили и даже критиковали друг друга. И, наконец, Елизавета Веденеева из Бельгии в течение многих лет была политическим рупором Даниила Федоровича, и ее рубрика «Миражи современности» часто была самым острым, эмоциональным и ярким разделом газеты, печатавшимся, как правило, на первой полосе.

Свою склонность к употреблению псевдонимов, он объяснял мне так:

Этот вопрос является необычайно болезненным для подсоветских, включая диссидентов... Но мы все, вторая эмиграция, меняли и паспортные имена, и имена для печати. Весьма понятно, у каждого оставались в СССР родные и друзья, которых по тамошним законам вполне легально можно и должно было свирепо наказать за наши грехи. Потому и Башилов, и Лидия Норд, и Гротов-Ростов скрывались за псевдонимами. Ширяев был сперва Алымовым, а если потом расхрабрился, то оттого, что всю семью вывез за границу. Могу уточнить, что Сергей Петрович Мельгунов, человек абсолютно бесстрашный и с опытом подпольной работы, когда я принес ему статьи, мне велел выбрать псевдоним. Как он объяснил, не хотел

брать на себя ответственность, если я пострадаю из-за сотрудничества в его «Свободном Голосе» (менявшем, впрочем, названия, от номера к номеру, так как советский посол Богомолов требовал запрещения, и французы ему уступали).

Публиковался Даниил Федорович во множестве журналов выходивших в лагерях Ди-Пи – в Германии, в Италии, особенно у Н. Н. Чухнова, впоследствии редактора нью-йоркского монархического журнала «Знамя России». С Иваном Солоневичем завязал переписку, когда тот был еще в Германии. Первая статья Рудинского в «Нашей Стране» появилась в № 6, от 11 ноября 1948 (!).

Кроме «Нашей Страны», он писал в парижских «Возрождении», «Русской мысли», «Русском пути» и «Русском Воскресении», брюссельском «Часовом», нью-йоркских «Знамени России», «Заре России», «Новом Журнале», «России», «Наших вестях» и «Новом Русском Слове», сан-францисской «Русской Жизни», канадском «Современнике», германских «Русском Ключе» и «Голосе Зарубежья», аргентинском «Вестнике».

В начале своей парижской жизни он активно участвовал в общественной жизни, выступал на собраниях, делал доклады. А также проучился два года в Богословском Институте на улице Крима, находящемся в юрисдикции Парижской Архиепископии. Одним из его соучеников был будущий епископ Русской Православной Церкви за рубежом Серафим (тогда Игорь Дулгов), с которым он потом общался многие годы. Потом его исключили – фактически за то, что поехал в Брюссель на съезд имперцев, не испросив разрешения, хотя это было во время каникул. Затем поступил в Школу Восточных языков, где изучал малайский, и ее окончил. Лингвистикой занимался всю жизнь. По Ленинградскому университету знал языки: французский, испанский, португальский, итальянский, румынский, латынь, английский. По Школе языков – немецкий. Позже изучал многие другие, включая малайско-полинезийские.

Работы Даниила Федоровича в области лингвистики (он занимался сопоставлением австронезийских и индоевропейских языков), – увы, доселе в значительной степени не обнародованные, – имеют не только научное, но и богословское, религиозное значение, доказывая существование первоначального единого языка человечества, исходящего от одной, и очевидно небольшой, группы, если не из единой пары. А научное доказательство, что некогда был единый язык у человечества (а значит и общие предки) было бы свидетельством об истинности библейского повествования. И, следовательно, подтверждением христианству.

О многом, сказанном выше, упоминается в статьях Даниила Федоровича, вошедших в его книги, увидевшие свет на родине трудами А. Г. Власенко и М. Г. Талалая в издательстве «Алетейя». Первый сборник, «Вечные ценности» (2019), дал возможность российскому читателю ознакомиться со статьями, опубликованными в журналах и газетах русского рассеяния, посвященных русской классике, советской художественной литературе и публицистике, а также с лингвистическими работами Даниила Федоровича. В следующий сборник, «Мифы о русской эмиграции» (2021), вошли статьи, посвященные литературе представителей русской эмиграции, а также этнографические очерки.

Настоящий сборник включает художественные произведения Даниила Федоровича, а также статьи и очерки, посвященные русской эмиграции во Франции. Оглавлен он по названию одной из статей. Начинается он со «Страшного Парижа», «романа в новеллах», как его назвали в предисловии к российскому изданию 1995 г. Задуман он был еще в начале 1950-х годов. В ответ на предложение редактора газеты и издательства «Наша Страна» В. К. Дубровского напечатать сборник его произведений Даниил Федорович написал о трех возможных вариантах книги, один из которых (помимо воспоминаний о Второй мировой войне и сборника статей из «Нашей Страны») был представлен так:

Сборник рассказов чисто художественного характера. В них, правда, неоднократно выражаются монархические мысли и чувства, но пропагандного значения они не имеют. В большинстве действие в Париже, в среде русских эмигрантов; уклон – несколько мистический

(скажем, отдаленно напоминающий Гоголевский «Портрет» или «Лугин» Лермонтова). Но именно в силу не политического характера, они могли бы, может быть, привлечь внимание более широкой публики, чем чисто монархические книги; это мнение разделяют многие, с кем я советовался. Рассказы не дурны. Их, в частности, готово взять у меня «Возрождение», но там можно поместить лишь часть, и отдельной книгой интереснее бы. Часть у меня готова, для других есть план. Размер книги можно бы согласовать, сделать большие или меньшие, размера Ширяевских рассказов или его «Ди-Пи в Италии».

К сожалению, тогда книгу издать не получилось. Некоторые рассказы были напечатаны во второй половине 1950-х годов в парижском журнале «Возрождение» и нью-йоркской газете «Новое русское слово». Сама же книга была издана впервые в 1992 году в Иерусалиме, в издательстве «Экспресс». Д. М. Штурман, многие годы дружившая с Владимиром Рудинским, написала в предисловии к этому изданию:

Начну с того, что «Страшный Париж» интересен. Независимо от мнения упомянутых выше критиков, сотрудники издательства, взявшегося его опубликовать, читали его наперебой – и в машинописи, и в гранках. А в наши дни беллетристика интересная – это редкость...

В. Рудинский возникает в «Страшном Париже» с мало известной современному читателю зарубежной русской периодики стороны. Представитель второй, 1940-х гг., волны эмиграции (автор называет ее «новой эмиграцией», в отличие от первой, послереволюционной), монархист по убеждениям, потомственный русский интеллигент из кругов интеллектуально-аристократических, В. Рудинский – по образованию и специальности – лингвист, полиглот, владеющий многими языками, при этом и экзотическими, не только на разговорном, но и на глубинном научном уровне. Кроме того, он этнограф, знакомый с верованиями, обычаями, философией, магическими представлениями многих уникальных культур. За его плечами Ленинградский (ныне снова Петербургский) университет и Парижская школа восточных языков...

В жизни каждого из нас сложно переплетаются многие причины нашего внешнего успеха и неуспеха. «Страшный Париж» подтвердил (косвенно) мою догадку о том, что Рудинский-лингвист, при его уникальных знаниях и далеко не полностью опубликованных научных трудах, не сделал официальной научной карьеры на Западе, куда он попал достаточно молодым, лишь потому, что гражданский патриотический долг, как он его понимал (борьба против коммунизма, защита монархической идеи), отвлекал его от направленной на карьеру научной работы и превалировал над всем прочим. В новеллах просматриваются еще и драматические личные обстоятельства (при серьезном и глубоком отношении лирического героя к любви и налагаемому ею рыцарственному долгу). Сквозь весь цикл проходит взаимное противостояние inferнального Зла и мирового Добра. Противоборство между ними разворачивается как внутри человеческой души, так и вокруг нее. С одной стороны – за власть над ней и ее погубление (Зло), а с другой стороны – за ее устояние и спасение (Добро). Inferнальное Зло персонифицируется автором в самых разнообразных проявлениях черной магии, колдовства, в деятельности оккультных сект, учений, сливающихся издревле в некий интернационал служителей и рабов дьявола. Добро – как защита, прибежище и спасение человека – воплощается в высшем и конечном смысле в Боге, в христианстве, в Кресте. Это четко осознают оба «сквозных» героя новелл: рассказчик и следователь.

Каждый читатель прочитает эту книгу по-разному и ответит на ее вопросы по-своему. Но мне представляется, что «Страшный Париж» найдет своего читателя и среди тех, кто захочет просто отвлечься от повседневности и погрузиться на время в жизнь, богатую приключениями и неожиданностями, и среди тех, кто склонен серьезно задумываться над жизнью, над ее глубинными основами».

Первое издание быстро превратилось в библиографическую редкость, и отрадно, что несколько лет спустя, в 1995 году, книга была переиздана в России, в издательстве «Звонница» (Москва) и стала более доступна российским читателям.

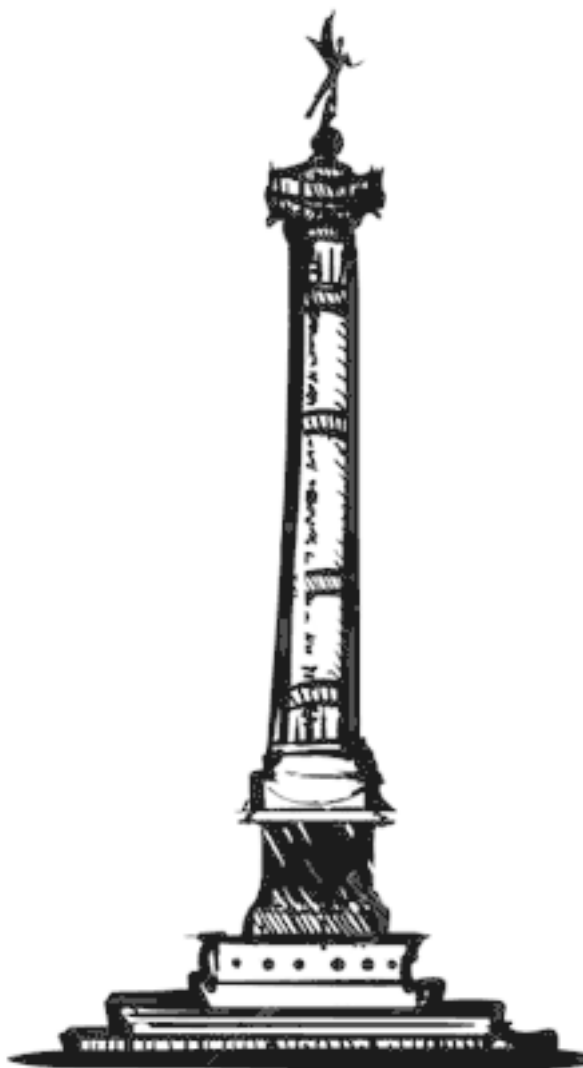
Однако на этом приключения героев «Страшного Парижа» не прекратились, и серия новелл Даниила Федоровича продолжилась. Напечатаны они были преимущественно в журналах «Литературный европеец» и «Мосты» (Франкфурт-на-Майне). Второго, дополненного издания «Страшного Парижа» при жизни автора не случилось, и я рад, что настоящий сборник восполнит этот пробел, и впервые объединит под одной обложкой как новеллы, вошедшие в первое издание, так и более поздние произведения.

Помимо «Страшного Парижа» и его продолжения, составители нового сборника Андрей Власенко и Михаил Талалай включили в него криминальную хронику Парижа, которую Даниил Федорович некоторое время публиковал в нью-йоркском журнале «Новое русское слово», а также многолетний хронологический обзор политической и литературной жизни русской эмиграции во Франции. Эта подборка не случайна и позволяет изучить и понять многогранность и уникальный диапазон таланта Даниила Федоровича, сумевшего создать интересные и содержательные произведения в самых разных и, казалось бы, противоположных жанрах и стилях, а также понять, из чего создавался и каким образом отрабатывался и шлифовался собственный стиль его уникальных новелл, который, как Д. М. Штурман обозначила в своем предисловии, «имеет частичные жанровые прецеденты, но не имеет прецедента в этом смысле полного».

Несомненно, что документальные статьи и очерки не менее интересны и сами по себе, как яркая и объемная картина жизни и деятельности русской эмиграции (в этом сборнике самая ранняя статья вышла в свет в 1948, года автору было 29 лет, а самая поздняя из прижизненных публикаций была напечатана в 2009, когда ему исполнился 91 год!), представленная с точки зрения монархиста и православного христианина, которым Даниил Федорович Петров оставался всю свою жизнь до последнего вздоха.

Николай Казанцев, апрель 2022, Буэнос-Айрес

Страшный Париж



Колдунья

Princezna Teréza má těž tajuplnou onu moc – duše její mne navštívila.
Julius Zeyer. «Teréza Manfredi»¹

Париж – страшный город, и вовсе не тем адом апашей и проституток, о котором столько писали и пишут и будут писать люди, видящие только поверхность вещей. Есть иное: есть множество точек и целых кругов, соприкасающихся с настоящим, единственно реальным адом и перебрасывающим его влияние в земной мир. Сатанизм, бесконечное множество самых страшных и зловещих сект, отдельные люди и группы людей, знающих чудовищные тайны, живут здесь среди интеллигентов, аристократов и миллионеров, среди рабочих и бедняков.

¹ «Княжна Тереза тоже обладает этой таинственной силой: ее душа меня посетила». Юлиус Зейер, «Тереза Манфреди» (чешск.). Юлиус Зейер (Julius Zeyer; 1841–1901) – чешский поэт, писатель. (Здесь и далее прим. ред.)

Изредка, на научной лекции о черной магии, – на какую вы можете иногда попасть, заинтересовавшись названием вроде «Французский фольклор раннего Средневековья» или «Религиозные обряды туземцев Мадагаскара» – перед вами вдруг приподнимается занавес... и вы смотрите во мглу... Хорошо, если спасительный испуг подскажет вам бежать без оглядки: у вас останется только на всю жизнь жуткое, отчасти приятное воспоминание и, может быть, сожаление, возвращающееся периодически в форме вопроса: – А что если бы я тогда?..

Но если вас охватит другое чувство, жгучее и пронзительное любопытство, влекущее так, как притягивает к себе пропасть, когда вы в нее смотрите с мостика без перил, вы всегда найдете подле своего локтя человека... иногда любезного старичка или блестяще воспитанную пожилую даму, иногда очаровательную девушку... но во всяком случае такого человека, кто с величайшей радостью вступит с вами в разговор, завяжет знакомство и подтолкнет вас на путь, в конце которого вы лишь позже, много позже, когда у вас не будет силы ни вернуться вспять, ни остановиться, различите две кошмарно-грандиозные фигуры: смерть и безумие...

Париж служит центром не только для научных конференций по физике и химии; есть другие неудобопознаваемые науки, раскидывающие свою сеть по узеньким улочкам вдоль берегов Сены, по шумному Латинскому кварталу и по широким, залитым неживым электрическим сиянием бульварам. Здесь, случайно и неожиданно, вы можете услышать подробный и ясный, но чаще всего полный недоговоренностей рассказ о негритянских культурах в Центральной Африке, о приемах черных колдунов Бразилии, об удивительных обычаях инков в неприступных горных районах Перу... или о волшебных процедурах малайцев на острове Бали... и можете попасть по ошибке в магазин или ресторан, где на вас странно посмотрят, зададут несколько настойчивых вопросов, словно в ожидании условного ответа... и выпроводят вас деликатно и вежливо прежде, чем вы догадаетесь, что происходит в комнатах в глубине.

Здесь, остановившись перед витриной книжной лаки, вы можете остолбенеть при виде своеобразного подбора книг, трактующих исключительно об оккультизме, гипнозе, кровавых жертвоприношениях и ритуальных убийствах, о демонологии и о самых страшных извращениях человеческих страстей и человеческой мысли... войдите вовнутрь, если хотите (но мой совет: не входите никогда, если вы цените земное существование и спасение вашей души); заговорите с продавцом... он будет с вами внимателен и приветлив; если угадает в вас новичка, даст вам то, что вас может заинтересовать; если вы знаток, найдет вам редкое сочинение, которое вы давно ищете; непринужденно заведет с вами разговор о ваших интересах, предложит зайти еще... и, может быть, вы в конце концов увидите перед собою в погребе при магазине или наверху в квартире хозяина, «Некрономикон» Абдула Аль Хазреда² или «Unaussprechliche Kulte»³ фон Юнтца⁴, книги, которые, по секретному циркуляру, в национальных библиотеках европейских держав и Соединенных Штатов держатся в сейфах и показываются читателям лишь по специальному разрешению. Тот, кто их прочел (до конца их прочесть, впрочем, не у многих хватает мужества), смотрит на мир иными глазами, чем прежде...

Можете вы столкнуться с этим миром и иначе... страшное убийство, загадочное исчезновение молодой девушки или ребенка могут вас привести в контакт с полицией, и вы можете среди ее служащих с изумлением обнаружить людей с совсем особым взглядом на физические законы мира, выработанным долгими годами опыта, знающих, что убийство может быть совершено безо всякого оружия, одним усилием воли, что не всегда герметически закрытые окна и двери представляют препятствие для врага, что сумасшествие и убийство есть часто результат некоторых таинственных манипуляций самой жертвы или иных лиц, знающих, кому и для чего нужны бывают человеческая кровь и человеческие органы; можете узнать, что есть пре-

² Вымышленный персонаж, придуманный Г. Лавкрафтом, автором «Некромикона».

³ «Несказуемые культы» (нем.).

⁴ Вымышленный персонаж мифологии Ктулху, созданный Р. Говардом.

ступления, о которых почти ничего не говорится в печати (или то, что говорится, не имеет ни малейшего отношения к действительности), хотя против виноватых принимаются решительные и нередко эффективные меры.

И, наконец, ваш доктор или ваш священник знает иногда гораздо больше о потустороннем мире и его связях с нашим здешним бытием, чем вы способны предположить; только ни тот, ни другой вам этого в нормальных условиях не расскажут, храня свой профессиональный долг, и понимая, с одной стороны, какую роковую травму может оставить в вашем сознании не в меру откровенный рассказ об опасностях, ежечасно грозящих нашему психическому и физическому здоровью, а с другой, «что есть вещи, о которых и знать не должно доброму христианину».

Я никогда не стремился соприкоснуться с этим подземным слоем столицы мира, но судьба меня с ним упорно сталкивала. Занятие языками и отчасти культурой востока приводили меня к изучению вопроса о языческих религиях... в фолиантах этнографов и старинных рукописях, интересовавших меня в чисто лингвистическом отношении, я то и дело встречал то откровенные, иногда отвратительные описания ритуалов и воззрений той или иной древней и загадочной расы, то добросовестно записанную формулу заклинания, где половина обычно непонятна, а от вразумительной части чувствуешь, как шевелятся корни волос. Станным образом, после них многие аналогии в европейских суевериях и приметах сделались мне ясны, и некоторые места в наших русских и западных писателях и поэтах получили для меня неизвестный раньше смысл.

Молодой малаец, которому я перевел однажды «Песнь торжествующей любви» Тургенева, со знанием дела пояснил мне кое-что из описанных там чудеснических операций... и никак не хотел поверить, что Тургенев никогда в жизни не посещал Явы, но на некоторые мои вопросы он не захотел ответить, и в его узких умных глазах мелькнуло что-то, отчего я не решился настаивать.

В южноамериканском фильме я был поражен, когда передо мною на экране промчались страшные видения амфитеатровского⁵ «Жар-Цвета», и о них же мне напомнили отрывки из древнейших абиссинских хроник в одном труде по истории Эфиопии. А «Семейство вурдалаков» я не раз имел случай вспомнить, не говоря о том, что мои приятели-сербы рассказывали мне, как очевидцы, я слышал странные отклики с другого конца мира – по всему индонезийскому архипелагу rontianak и pelesit, не менее лакомые до крови, чем их балканские собратья, создают сходные ситуации, не раз поражавшие испанцев на Филиппинах, англичан на Борнео, голландцев на Суматре...

Мне случалось с удивлением убедиться в том, что о шаманах северной Сибири, якутских и особенно чукотских, существует целая литература, что о них советский профессор Тан-Богораз⁶, бывший политический ссыльный, дает совершенно нематериалистические подробности в своих описаниях быта палеоазиатских народностей, и что их ничем не объяснимые с естественной точки зрения чародейские опыты простираются в одну сторону до Гималаев и полинезийских вулканов, в другую – до Юкатана и Анд. Русский художник, изъездивший глубины Монголии, рассказал мне о том, что видел...

Читатель может найти нечто сходное в книгах польского путешественника Фердинанда Оссендовского⁷... и некоторые отрывки из Всеволода Соловьева⁸ и даже Крыжановской⁹, все-

⁵ Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) – писатель, публицист, журналист, драматург и театральный критик. С 1922 в эмиграции, в Праге, затем в Италии. Сотрудничал во многих периодических изданиях русского зарубежья.

⁶ Владимир Германович (рожд. Натан Менделевич) Богораз (псевд. Тан, Тан-Богораз) (1865–1936) – писатель, этнограф. Участник многочисленных этнографических экспедиций. Один из основателей Института народов Севера и Музея истории религии.

⁷ Фердинанд Антоний Оссендовский (1878–1945) – журналист, литератор, общественный деятель. Автор исторических и фантастических романов. Участник Гражданской войны, служил в правительстве адмирала А. В. Колчака. В 1922 уехал в

гда казавшиеся мне неудержимым фантазированием, вдруг представились моим глазам как бледные и беспомощные попытки переложить на бумагу неподдающуюся описанию реальность.

Но с потусторонним миром я встретился не через посредство кого-либо из моих восточных знакомых. Они вообще не склонны рассказывать свои секреты белым людям, ни тем, которых, как почти без исключения всех западноевропейцев, они ненавидят, ни еще более тем, кого им случается полюбить – в отношении русских это с ними как раз нередко бывает. В последнем случае они молчат потому, что не знают, как на нас может подействовать посвящение, и не станет ли оно для нас трагичным. Вековая мудрость подсказывает им, что перед лицом таинственного человека со светлой кожей бессилен куда хуже, чем островитяне Тихого океана оказались перед гриппом, косившим насмерть целые деревни, и перед водкой, истреблявшей племена более жестоко, чем кровопролитные войны.

Черная или золотистая кожа – гарантия не только от солнечного удара и лихорадки; она защищает и от иного рода лучей и микробов. Почему? Более старая культура? Близость к природе? – Пусть это решают специалисты.

Но, между прочим, европейцы ли русские? И где вообще начинается психологически Европа? – На запад от Балкан? – На восток или на запад от Финляндии, жителей которой по всему миру, верно, не без основания считают за опасных колдунов?

В сферу ведовства я вступил самым банальным и светским образом.

Мои соседи, муж и жена, милые и простые люди из новой эмиграции, стали меня как-то уговаривать пойти вместе с ними в гости к их знакомым, которым брались меня представить. Через полчаса я сидел напротив прелестной девушки, которую, если не считать красоты, отличали, от любой другой только глаза... бездонные, как темный омут, с мягким и в то же время пугающим мерцанием в глубине; я никогда не испытывал такого необычного колебания, как в этот раз; мне хотелось в них смотреть без конца, и в то же время я не мог задержаться на них дольше мгновения, и мой взор опускался, как от удара палкой. В борьбе с противоречивыми и непонятными эмоциями, я почти не участвовал в разговоре между моими друзьями и хозяйками – девушкой (назовем ее Лидия Сергеевна) и ее матерью. А беседа была интересная. Она вертелась вокруг всего страшного, до которого мой приятель Энвер (к слову сказать, крымский татарин) и его жена были большие охотники, что они откровенно проявляли с наивным очарованием почти детской непосредственности. Лидия Сергеевна и ее мама не заставляли себя просить и рассказывали одну загадочную историю за другой – то, что с ними самими случилось, или о чем они слышали вообще; всё было просто, так что понял бы и ребенок, но я время от времени настораживался от намека гораздо более глубокого и значительного, чем общий тон разговора. Что хозяйки (между прочим, носившие старинную дворянскую фамилию) были хорошо образованные и воспитанные женщины, я оценил сразу, но знание всего связанного с оккультизмом, пробивавшееся в их словах, меня всё более удивляло.

Польшу. Написал ряд исторических произведений, включая книги о гражданской войне в Сибири и Монголии и о Ленине («Ленин – бог безбожных»).

⁸ Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) – писатель, поэт, журналист. Старший сын историка С. М. Соловьева. Наибольшую известность получили исторические романы и повести, а также «Хроника четырех поколений», семейная эпопея из пяти романов о судьбах дворян Горбатовых.

⁹ Вера Ивановна Крыжановская (в замужестве Семенова, псевдоним Рочестер; 1857–1924) – писательница. Интересовалась спиритизмом и оккультизмом. Утверждала, что ее романы были продиктованы ей духом английского поэта Джона Уилмота, графа Рочестера. Писала на франц. яз., затем написанное переводилось на русский и редактировалось автором. Помимо исторических и спиритических произведений писала сочинения на современные темы. За точное описание быта Древнего Египта в книге «Железный канцлер древнего Египта» Французская Академия наук присвоила ей почетное звание «Офицер Французской Академии». Роман «Светочи Чехии» за передачу с исторической правдивостью и точностью уклада жизни и нравов чехов времени Яна Гуса был удостоен почетного отзыва Российской Императорской академии наук. После революции эмигрировала в Эстонию. Более двух лет работала на лесопильном заводе, что отрицательно сказалось на ее здоровье, заболела и умерла в полной нищете.

– Погадайте нам, Лида! – вдруг экспансивно воскликнула Валя, моя соседка. – Я знаю, вас трудно уговорить... Ну, не нам, так новому гостю! Пожалуйста! А то он нам не поверит, что вы так всё угадываете: пусть сам увидит...

Меня не очень привлекала такая перспектива, но темные глаза уже остановились на мне, и перед улыбкой, скользившей по тонким губам, мне было бы стыдно отступить и проявить свое беспокойство.

– Мне не интересно будущее, – бросил я, с некоторым вызовом. – Да лучше его и не знать... Но если хотите показать свою силу, скажите, где сейчас мои мысли.

Она легким движением руки переставила с соседней этажерки на стол маленький стеклянный шарик.

– Ваши мысли не так далеко отсюда... Я не вижу названия улицы, слишком темно, и я ее не узнаю... но вам надо сперва подняться по крутой лестнице... света нет... Потом коридор... как будто третий этаж? За столом сидит девушка... почти ребенок... белокурая головка, выющиеся волосы с бронзовым отливом... Она смеется и болтает, говорит что-то о картинке, которую нарисовала... вон в углу ящик для красок, и он почему-то связан с вами... с ней за столом женщина, несколько похожая на нее, и мужчина... ему лет сорок, ей немного меньше... все пьют чай...

Меня так и обожгло. Этот образ, такой для меня бесконечно милый, всё время был со мною... и сейчас, услышав о ней, у меня от нежности слезы выступили на глаза... но кто мог об этом знать? Люди, которых я впервые встретил? Даже соседям, как будто, ничего не было известно, хотя я прочел сейчас в глазах у Вали рождающееся подозрение. И, наконец, кто мог проведать о ящике для красок, одном из немногих подарков, который от меня согласились принять?

Необходимо было перевести разговор. Я с лихорадочной поспешностью, довольно некстати завел речь о какой-то книге, где есть сходное положение, стал рассказывать сюжет (никакой такой книги я не читал и наспех придумал ее содержание, что обмануло Вали и Энвера, но вряд ли хозяек), потом стал говорить о литературе вообще и в заключение попросил мне одолжить какой-нибудь роман, в то же время поднимаясь со стула, чтобы предотвратить дальнейшую беседу.

Взяв из рук Лидии Сергеевны протянутую мне книгу, от смущения даже не взглянув на нее, я сунул ее в карман и вместе с соседями отправился домой. Мы шли пешком – путь был недалекий, – и я всю дорогу шутил и смеялся, стараясь избежать расспросов о гадании, которые меня мало устроили бы.

Стояла теплая, даже жаркая летняя ночь, напоминающая мне чем-то белые ночи родного Петербурга... Был июль, когда в Париже даже и днем город пуст и тих, как могила... Мы засиделись в гостях, как водится у русских; была полночь, когда мы входили в наш отель. Моя комната находилась на нижнем этаже и выходила прямо во двор. Я мимоходом посмотрел на данную мне книгу: ни название, ни имя автора мне ничего не сказали – Lovecraft, «Supernatural Stories»¹⁰ – бросил ее на стол, и, быстро раздевшись, свалился на кровать и заснул.

Проснулся я, не знаю через сколько времени, в самую глухую ночь, от чувства нестерпимого ужаса, какого не испытывал никогда в жизни, тем более гнетущего, что я совершенно не понимал его причин. Мне стоило большого напряжения пошевелиться; я почувствовал, что весь лоб у меня покрыт холодным потом, что сердце мучительно сжимается... вся комната была полна ужасом, словно вязкой, медленно движущейся массой. И я ощущал, что его волны идут от стола... от стола, где я вчера положил книгу... Какие-то слова молитвы пришли мне в голову и придали сил; я вскочил с постели и распахнул окно; теплый, но освежающий воздух, войдя в комнату, рассеял кошмар... там, через двор, рядом, за стеной спали люди, я не

¹⁰ Говард Филлипс Лавкрафт, «Рассказы о сверхъестественном».

был одинок; на стене висела маленькая икона Серафима Саровского... Таков был мгновенный, нерасчленимый поток мыслей в моем мозгу, и через минуту мне стало совершенно непостижимо, чего я, собственно, испугался... мне было бы даже смешно, если бы память о пережитом чувстве не пряталась где-то в подсознательном, еще посылая по нервам последние всплески ледящей дрожи.

Еще более нелепым мне всё это показалось утром, при ярком солнце. Но когда я прочел рассказы Лавкрафта, я отчасти понял, что они могли наводить трепет. Миф о Ктульху, который спит на дне моря и общается с людьми через сны, когда ему удастся поймать достаточно чуткую душу, и жуткие требования, предъявляемые им сновидцу... повесть о мышках в стене аббатства, где в подвалах веками совершалось нечистое служение матери богов Кивеле... о страшных жителях подземных пещер Новой Англии... о пришельцах с далеких холодных звезд... о Камоге, переносившем душу из живого тела в полуразложившийся труп...

С благодарностью вернув Лидии Сергеевне книгу, я попросил еще что-нибудь и стал в ее доме частым гостем. Запас страшных рассказов и романов был у нее, казалось, неисчерпаем. Большинство было куплено ею в Нью-Йорке, где она недавно провела год; она мимоходом обронила о своих знакомствах там среди негров, чутко откликающихся на наше славянское безразличие к цвету кожи, в числе которых она нашла много преданных друзей. Всё то, что я читал прежде в этом жанре, в области художественной литературы, побледнело перед концентрированным мраком, сгущенным на страницах этих книг. Брэм Стокер¹¹, Шеридан Ле Фаню¹², Редьярд Киплинг, Артур Мэкен¹³... кое-кто из французов, Клод Фаррер¹⁴, Жан-Луи Буке¹⁵... испанцы Рамон дель Валье-Инклан¹⁶ и Густаво Адольфо Беккер¹⁷, перуанец Вентура Гарсия Кальдерон¹⁸...

Меня принимали любезно и мило; Лидия Сергеевна была очаровательная собеседница, но, как ни нелепо, мне бывало внутренне жутко оставаться с ней наедине. Я чувствовал, что если бы, например, погас свет, я был бы способен вскрикнуть от ужаса... И это после войны, где я принимал участие без особенной трусости и видел не только фронт, не только рушащиеся дома и охваченные пламенем кварталы Берлина и улицы Царского Села, месяцы и месяцы непрерывно лежащие под обстрелом советской тяжелой артиллерии, где вся мелодия дней и ночей была свист и разрывы, но и поля, полные трупов, через которые можно было идти бесконечные часы, видя всё ту же картину... И то сказать, тут было чувство опасности совсем иного рода: нездешней, нематериальной.

Лидия Сергеевна, прекрасно говорившая по-английски и по-французски, владела в отличие от этого испанским языком довольно слабо; она могла понимать смысл средней трудности текста, но не ладила ни с произношением, ни с грамматикой. Здесь у меня было преимущество: я когда-то – Господи, как давно! странно оглядываться на то, что было до войны, – специали-

¹¹ Абрахам «Брэм» Стокер (Abraham "Bram" Stoker; 1847–1912) – ирландский писатель, театальный менеджер. Директор-распорядитель лондонского театра «Лицеум». Наиболее известен его роман «Дракула».

¹² Джозеф Шеридан Ле Фаню (Joseph Sheridan Le Fanu; 1814–1873) – ирландский писатель. Писал готические романы и повести, рассказы о привидениях.

¹³ Артур Мэкен (Arthur Machen; наст. имя Артур Ливелин Джонс; 1863–1947) – английский (валлийский) писатель, журналист.

¹⁴ Клод Фаррер (Claude Farrère; наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876–1957) – французский писатель. Автор популярных приключенческих, фантастических и детективных произведений. Член Французского комитета защиты преследуемой еврейской интеллигенции и Ассоциации защиты памяти маршала Ф. Петена. Председатель Союза писателей-комбантов.

¹⁵ Жан-Луи Буке (Jean-Louis Bouquet; 1900–1978) – французский сценарист.

¹⁶ Рамон Мария дель Валье-Инклан (Ramon Maria del Valle-Inclan; 1866–1936) – испанский писатель. Представитель «Поколения 98 года».

¹⁷ Густаво Адольфо Беккер (Gustavo Adolfo Becquer; наст. имя Густаво Адольфо Домингес Бастида; 1836–1870) – испанский писатель, поэт, драматург, журналист.

¹⁸ Вентура Гарсия Кальдерон (Ventura Garcia Calderon; 1886–1959) – перуанский писатель, критик, дипломат.

зировался в Ленинградском университете по кафедре романских языков с уклоном на испанскую литературу, служил во время войны переводчиком при испанской Голубой Дивизии, и объяснялся на языке Сервантеса довольно бегло. Мы начали немного заниматься с Лидией Сергеевной, но на первом же уроке она через некоторое время отложила книжку и задумалась.

– Знаете – сказала вдруг она, – у меня иногда душа может оставить тело и улететь... Я будто сплю, но на самом деле я в другом месте. Есть один человек в Швейцарии, и он имеет власть надо мной. Когда он зовет, я не могу не последовать его зову... вот он и сейчас ждет меня... но я смогу прийти только ночью...

Мне было не по себе. Сказать, что всё это бред, было бы определенно невежливо... и, надо признаться, я сказал бы это без большой уверенности. Глаза, взор которых я так и не научился переносить, снова смотрели на меня, и в них играла легкая насмешка.

– Когда я возвращаюсь, я могу посетить любое место; я тогда свободна... Хотите, я приду к вам?

Мне, правду сказать, совсем не хотелось. Но я постарался рассмеяться и сказал:

– Мне будет очень приятно, без сомнения. Но, может быть, вернемся к тексту? Он, я вижу, вас не очень занимает, я и сам не особый охотник до Бласко Ибаньеса¹⁹ с его чрезмерным реализмом. Другой раз я принесу вам стихи Эспронседы²⁰; они, я уверен, вам понравятся, а у меня дома лежит его сборник.

Мы заговорили о чем-то незначительном.

Прошло три дня. Я был поглощен политической работой; она, это типично в русской эмигрантской среде, идет толчками, то затихая, то оживляясь. Выдался момент прилива; подготавливался выпуск журнала, где я должен был участвовать, и на меня свалилась масса дела. Просидев однажды до полуночи в типографии, после того, как днем надо было мотаться по всему городу, собирая материалы у запоздавших сотрудников, я вернулся домой очень утомленным, прилег на минуту, не раздеваясь, и заснул крепким сном. Меня вернуло к сознанию легкое прикосновение. Я открыл глаза, но мне показалось, что я еще сплю. Склонившись надо мной, улыбаясь, стояла Лидия Сергеевна. Голубоватой свет озарял стены комнаты, струясь неизвестно откуда; я никак не мог понять, почему я вижу через нее стол и за ним окно во двор... Я прошептал что-то вроде «Боже мой», но гостья меня остановила.

– Я не боюсь молитвы, – сказала она, – но если вам неприятно, я могу уйти...

– Что вы, как можно... я только не ожидал...

Я встал, ожидая, что сейчас проснусь, но сон не рассеивался.

– Могу я предложить вам что-нибудь? Может быть, чаю? – насилу выговорил я, чувствуя нелепость происходящего, но в то же время и желание испытать, что же получится.

– Нет, благодарю. Сейчас я ничего не могу ни есть, ни пить.

Лидия стояла перед столом, в двух шагах от меня, и я отчетливо ее видел, несмотря на все попытки уверить себя, что это должна быть галлюцинация.

– Вот это и есть та книга, про которую вы мне говорили? – спросила она, словно с намерением вывести меня из затруднения, указывая на случайно лежавший на столе томик Эспронседы, и ее пальцы небрежно перелистнули страницы.

– Да, – ответил я, – внезапно идея пришла мне в голову, – прочтите кусочек вслух...

Ее голос, музыкальный и тихий, прозвучал в моих ушах; ей открылось начало поэмы «Студент из Саламанки»:

Era màs de media noche,

¹⁹ Висенте Бласко Ибаньес (Vicente Blasco Ibanez; 1867–1928) – испанский писатель-реалист. Представитель «Поколения 98 года».

²⁰ Хосе де Эспронседа (Jose de Espronceda; 1808–1842) – испанский поэт. Крупнейший представитель испанского романтизма.

Antiguas historias cuentan,
Cuando en sueño y en silencio
Lóbrega envuelta la tierra
Los vivos muertos parecen
Los muertos la tumba dejan...²¹

Мне не раз приходилось преподавать испанский язык, и мое ухо четко зафиксировало сделанные ею несколько ошибок; наиболее серьезная была та, что она произнесла «сгугефт» и «вуофт» с ударением на последнем слоге, как нередко случается с людьми, привыкшими говорить по-французски. Я, однако, ее не поправил, и Лидия положила книгу обратно на стол.

– Ну, – сказала она, – я вижу, что вы мне все-таки не особенно рады, а главное, вы устали, и я не хочу мешать вам отдохнуть. Да и мне пора...

К моему удивлению, она не повернулась к двери, а медленно двинулась вглубь комнаты. Заднюю стену у меня почти целиком занимает большое зеркало, но глядя на него сейчас, я увидел иное. Зеркало рисовалось окном или входом, я явственно различал ярко освещенную небольшую комнату, за ней другую, где словно бы мелькали танцующие пары. Фигура Лидии скользнула туда, и через мгновение она перешла порог... Почти тотчас же в комнату за зеркалом, казавшуюся маленьким салоном, вошел мужчина... Я никогда не видел его ни до, ни после этого, но и теперь тотчас же узнал бы его при встрече.

Высокий, смуглый, с густыми черными волосами и орлиным носом над маленькими темными усами, одетый в черное, как будто в смокинг, с несколько хищным выражением лица, он был похож на серба или болгарина; ему могло быть от тридцати до тридцати пяти лет. Он галантно склонился перед Лидией, словно приглашая ее на танец; по движениям их губ я видел, что они говорят, но звук не доходил до меня; подавая ему руку, она обернулась ко мне и приветливо и слегка лукаво улыбнулась, затем оба исчезли в глубине.

Остолбенелый, я стоял перед освещенным входом, но мне казалось, что свет там внутри начинает тускнеть. Мной вдруг овладела дерзкая решимость и, сжав зубы, я сделал шаг вперед, в зеркало, инстинктивно зажмурившись, так как мне представилось, что сейчас я ударюсь о стекло. Но этого не произошло. Раскрыв глаза – до того я почувствовал только толчок, как бывает, если оступиться на лестнице – я увидел себя на бульваре. Казалось, я вышел из ближайшего дома. Этот дом, сообразил я, отделяет заднюю часть моего отеля от бульвара, где я находился. Что такое случилось? У меня немного помутилось в голове. Было начало зимы, а я был в одном пиджаке, с распахнутым воротом; ледяной, промозглый холод проникал до костей. Я пошел вниз, в направлении к ближайшей станции метро и мимоходом взглянул на висевшие возле входа часы. Было два часа ночи. Подгоняемый холодом, я быстро сделал два поворота, поднялся по улице круто вверх и через несколько минут был снова в своей комнате.

Тут мной овладело странное ощущение. Может быть... даже наверное... всё это было только сном... зеркало, как прежде, мирно белело в глубине... на столе валялся раскрытый томик испанских стихов... На какой странице я его раскрыл с вечера, я не мог припомнить...

Мне было холодно, я был разбит усталостью, всё вокруг было погружено в сон... Самым осмысленным было поскорее лечь; я начал стаскивать с себя одежду и кажется, заснул, как только скользнул под одеяло, прежде чем опустил голову на подушку.

Через два дня я снова был у Лидии.

– Вы заходили ко мне? – спросил я в разговоре, будто вскользь.

– Да, третьего дня. А вы не поверили? – усмехнулась она.

Я протянул ей книгу, которую держал в руке.

²¹ Было позже полуночи, / Гласит старинное предание, / Когда земля окутана Зловещим сном и молчанием, / Живые кажутся мертвыми, / Мертвые покидают могилы... (исп.).

– Я вам обещал стихи Эспронседы. Вы помните, какое место мы читали вместе?
Она уверенным жестом перелистнула страницы и прочла:

Era màs de media noche
Antiguas historias cuentan...

Что меня убедило больше всего, больше всех рациональных доводов, это то, что она снова сделала ту же ошибку в ударении в слове «сгугтефт». Я совершенно не желал никому, ни даже может быть, особенно самому себе показаться легковверным... Но какое же могло быть объяснение?

Живя в одном доме, мне случалось подолгу не видаться с Энвером; он возвращался домой вечером, а я в это время часто куда-нибудь исчезал. Но однажды я зашел к нему, и вместе с ним и его женою мирно сидел за чаем, разговаривая обо всех общих знакомых. Между прочим, я спросил, давно ли он видел Лидию.

– Давно, – махнул он рукой. – Ты ведь знаешь, как трудно к ним попасть. Всегда надо заранее сговариваться по телефону, а иначе они могут сказать, что заняты... Чем они занимаются таким, что не могут впустить гостя? Ты знаешь, – понизил он голос, – мне думается: колдуют...

В дверь постучались. Мы все трое невольно вздрогнули.

Энвер открыл. На пороге стояла Лидия.

Нас выручила Валя, с искренней радостью и обычным для нее гостеприимством кинувшаяся обнимать, а затем усаживать посетительницу.

– Лидочка, как хорошо! А мы только что о вас вспоминали.

Как всегда в присутствии Лидии, разговор сам собою отклонился в сторону спиритизма и колдовства. Энвер сказал, что никогда не был на сеансе и не представляет себе, как это делается. Зашла речь о планшетах.

– Попробуем! – вырвалось у Вали.

Лидия пожалала плечами, но, уступая, сказала, что довольно блюдечка, листа бумаги и какой-нибудь палочки или щепки. Через две минуты всё это было на столе, и вокруг блюдечка, на котором лежала длинная щепка, были написаны буквы алфавита.

Я положил руку на щепку; пальцы Лидии легко легли сверху на мою руку. «Тут не сплутуешь», – подумал я решительно про себя, – и в то же мгновение щепка сама собой зашевелилась, щекоча мне ладонь.

– Что спросить? Спросим, кто с нами говорит! – предложила Валя, беря карандаш, чтобы записывать ответы.

Неровными толчками щепка несколько раз обошла круг взад и вперед, останавливаясь перед отдельными буквами: ИМИЛЕГИО.

– Никакого смысла! – огорчилась Валя.

Но я увидел, что значат эти буквы, и внутренне поежился:

«Имя им – легион».

– Попробуйте со мной, Лидочка!

Женщины соединили руки, и щепка на этот раз стала двигаться с лихорадочной быстротой – МСТИСМРТИКРВ – Снова я первый угадал смысл:

– Месть, и смерть, и кровь.

– Кто? – спросила Лидия глухо.

Ответ был на этот раз дан во всех буквах.

– МОНАХ.

– Какое твое имя?

– ГРШНИК ЛЕОНИД, – ответило блюдечко, выпустив «е» в слове грешник, и замолчало.

Эта забава начинала действовать мне на нервы; Энверу, верно, тоже... Может быть, именно он весело сказал:

– А ну-ка, загадайте на меня.

– ДЖЕХЕНЕМ.

– Бессмыслица, как будто? – спросила Лидия.

Лицо Энвера пепельно побледнело; никогда я не видел его таким.

– Очень даже есть смысл. Это по-татарски значит «ад». Ну, кончаем! Так и вправду до плохого доиграешься...

Посидев еще немного, мы разошлись.

* * *

Что за связь существовала между Лидией и моим зеркалом? Я поворачиваюсь, оторвавшись от страниц рукописи, и мой взгляд упирается в его матовую, тускло поблескивающую поверхность.

Два раза оно оказывалось в центре странного и загадочного, внезапно ворвавшегося в мою жизнь. О первом случае я уже рассказывал. Вот второй... Однажды, когда мы собрались большой компанией у Лидии Сергеевны; зашла речь о гипнозе, и я рассказал, что, видимо, ему не поддаюсь, так как все попытки в этом направлении надо мной никогда не удавались.

– Есть простой способ, – сказала наша хозяйка, – который вы можете легко испробовать. Стоит только остановить взгляд на любом блестящем предмете, например, на зеркале, и смотреть, не отрываясь. Через несколько минут вы почувствуете результат.

На следующий день, утром, эти слова пришли мне на память, и я полубессознательно встал перед зеркалом и уставился в собственные, в нем отраженные зрачки. Сколько времени прошло, не знаю: я потерял о нем представление. Мною овладело ощущение стремительного падения в бездну. На дворе шумно играли дети, и их веселый крик вдруг стал от меня удаляться; я слышал его сперва издали, потом перестал слышать совсем.

Сознание меня оставляло; своеобразное ощущение жути и влечения наводняло всё мое существо... вдруг я отдал себе отчет, что глаза, смотревшие на меня из зеркала, не были больше мои; это были глаза Лидии... страшным усилием воли, я рывком отвел взор от стекла... это усилие было настолько реально, что я зашатался, потерял равновесие и опустился на стул. Шум со двора снова стал явственным; действительность вступила в свои права.

Русский Париж невелик; в нем все друг друга знают. Мне многое передавали о Лидии Сергеевне... но не буду повторять здесь чужих рассказов, которые увели бы меня слишком далеко; вдобавок, часть этих слухов слишком неправдоподобна, и читатель никогда не смог бы в них поверить.

* * *

Как-то раз я пришел к Лидии Сергеевне поздно и застал ее одну.

– У вас есть что-нибудь еще пострашнее? – шутливо спросил я, возвращая ей прочитанную книгу.

– Пожалуй.

Поставив книгу на полочку среди других, она скрылась за портьерой, в задней комнате, где я еще никогда не был, и вернулась с маленькой книжкой в руке. На ее губах играла обычная улыбка, но словно бледнее, чем обычно, и лицо ее было тоже бледней, чем всегда.

– Проглядите, если хотите. Только, я вас прошу, обещайте мне не читать, даже про себя, то, что там помечено, как «заклинание». Дело в том, что тогда что-нибудь может произойти, за что я потом буду себя упрекать. Есть силы, с которыми нельзя быть не осторожным.

Я внимательно рассматривал книжку, лежащую передо мной. На обложке колдун обнимался с чудовищно огромной жабой... Название было примерно «Околдовывание и расколдовывание на основе каббалы». То, что я прочел внутри, поразило меня смесью дикой непристойности и неистовых обещаний и угроз, торжественный тон которых рождал нелепое и непобедимое к ним доверие.

Трудно пересказать то, что я видел лишь одно мгновение. Сильнее всего мне врезалось в память несколько отрывков. Один из них гласил, приблизительно, следующее: «Половая любовь таит в себе огромную силу. В момент соединения женщины с мужчиной, когда рождается древний андрогин, излучается колоссальная энергия, которую посвященный может использовать по своей воле. Чтобы достигнуть этого, нужно совершить всё так: Женщина не должна быть профессиональной гетерой; тогда чары не имели бы силы. Мужчина не должен ее любить; это тоже парализовало бы колдовство. Он должен иметь над ней власть чарами, или обманом, принуждением или угрозой. Комната должна быть вся целиком обита черной тканью, и ни один луч света не должен туда проникать извне. Маг и его жертва должны войти в комнату совершенно обнаженные, с разных концов, через разные двери. При входе маг должен произнести...»

Дальше шли детальные наставления, частью пугающие, частью неприличные, часто почти смешные детской мелочностью; всё перемежалось заклинаниями по латыни и латинскими буквами на незнакомом мне языке, может быть, древнееврейском. Кончалось указанием, как можно употребить полученную силу; один из первых способов был наслать порчу на врага, с предупреждением, что, если тот сумеет защититься, гибель неотвратимо упадет на колдующего.

Другой отрывок давал средство для жены обеспечить себе верность мужа; условленное заклинание над клешней рака и наговоренным зеркалом могло сделать его бессильным по отношению ко всякой другой женщине...

– Конечно, – поясняла Лидия, – я держу эту книгу только, как орудие защиты; здесь указано, как можно обороняться от колдовства и как можно вылечить околдованного.

Но мои глаза с неудержимой силой приковались к одному из параграфов:

«Средство заставить любую женщину себя любить. Нужно в присутствии любимой, будто случайно, нанести себе рану так, чтобы струилась живая кровь, и если возможно, заставить ее эту рану перевязать, и сделать, чтобы кровь на нее упала. В этот момент надо тихо произнести такую фразу...»

– Вы обещали мне не читать заклинаний, – тихо, но твердо произнесла Лидия и вырвала у меня книгу из рук. Я хотел ее удержать, но на мгновение почувствовал непреодолимую физическую слабость... Она прошла не прежде, чем Лидия вновь вышла из-за портьеры, уже с пустыми руками.

– Послушайте, – сказал я, – дайте мне эту формулу. Одну единственную; мне не нужно ни богатства, ни власти, ни мести. Месть сладка, и власть над людьми опьяняет, и в богатстве есть наслаждение. Но всё теряет смысл для того, кто встретился с любовью. Нет опьянения, нет наслаждения, ни сладости на свете, которые бы сравнялись с тем, что она дарит. За нее отдашь всё, богатства Голконды сложишь к ногам желанной, врага простишь и сойдешь с трона... Я верю в вашу силу; слишком много видел примеров, чтобы не верить. Скажите, за какую цену вы мне продадите этот секрет? Нет ничего, перед чем бы я остановился. Жизнь? Кровь до последней капли? За один день, когда бы она мне улыбалась и не вырвала свою руку из моей. Спасение души? За ее любовь... лучше этого не может быть рая; пусть на миг... счастье останавливает время и мгновение делается вечностью... Вы неумолимы? Какому бы богу вы не молились, если не ради жертвы Христа, сжальтесь надо мною во имя мук Люцифера... он ведь тоже страдал... Я бы не просил вас, если бы у меня была надежда; не просил бы, если бы

имел еще силу переносить эту боль. Но я сделал всё, что могу придумать, и думать больше не могу, так как горю в огне. Я буду вашим рабом и не отвергну никакого условия.

С мрачным выражением Лидия покачала головой.

– Нет. Приворот никогда не приводит к добру. И вам надо избегать ее дороги, когда ваши пути сходятся, это вам не приносит добра. Помните ли вы вашу прошлую жизнь? – Она испытующе глядела на меня. – Замок в Ирландии? Озеро вокруг? Зеленые берега Эрина? Отца Майкеля? Неужели вы всё забыли, Джеральд? Вы сами должны знать, что вам дала ее любовь и за что вы несете карму...

Какие-то неясные образы заполняли мое сознание, врываясь туда насильно, против моей воли.

Она сказала – озеро? Этот странный сон, который я с детства видел, который врезался мне в память, как кусочек жизни: серебряная рябь на широкой водной равнине, камыш у берегов, из которого я вывожу лодку... замок на островке поднимает кровли в первых лучах зари... Замок, берег моря, старый монах... с ума я сошел, чтобы поддаваться внушению?

Все эти воспоминания – просто арсенал из бесконечного количества исторических романов; жизнь одна – та, которую я так нелепо теряю.

– Будь проклята прошедшая жизнь! – крикнул я, не стараясь удержать голос. – Я не хочу о ней помнить, если она была, не хочу за нее платить ни полушки. Все ее счета оплачены. Я вижу, вы просто не можете ничего. Вся ваша власть – химера, пустой набор слов. Даже совета вы дать не в силах, когда наступает тяжелый час. Что же, – кончил я уже тихо, – оставим эту тему.

Огромные глаза, которые меня всегда манили и пугали, были совсем близко от моих.

– Вы просите у меня то, чего я не могу и не хочу вам дать, – сказал тихий, но ясный голос. – «Так она говорила тот раз, во сне», – мелькнуло у меня в голове. – Но всё то, от чего вы отказываетесь, я могла бы вам дать: власть, богатство, силу расплатиться злом и добром со всеми, с кем захотите. Если вы окончательно откажетесь от нее... а она, всё равно, никогда не будет вашей... и если хватит мужества в вашей груди...

Бешенство, какое я испытывал всего несколько раз в жизни, от которого весь мир заволакивается красным светом, все мускулы в вихре нервной силы могут сделать в десять раз больше обычного, и сердце толкает одному идти на войско врагов, охватило меня. Бешенство, которое даже вернуло мне хладнокровие и от которого мой голос звучал ровно и сдержанно, словно откуда-то издалека.

– Лучше смерть от любви к ней, чем счастье с первой красавицей мира. Кроме нее, мне не надо никого и ничего на свете. Но кроме, как за ее любовь, ни за что иное в подлунной я не стану рисковать душой; спасибо за доверие, но этот путь не для меня. От него пахнет серой. Господь да простит мне мои грехи и ошибки; да будет Его милосердие со мной, если не в здешней, то хоть в будущей жизни.

Наступило тягостное молчание.

Я хотел бы вернуть свои слова. За что я обидел девушку, которая по-своему желала мне добра, вся вина которой, может быть, в чрезмерной и ложно направленной экзальтации и живописи воображения?

Наше прощание было холодным. Их дверь мне больше никогда не раскрывалась. Единственный раз мне пришлось еще встретиться с Лидией Сергеевной года через два, по поводу самоубийства ее подруги Елены. Я поймал ее у выхода из ее квартиры, и мы говорили по дороге. Следуя за ней, я очутился за городом и среди улиц, которые мне казались неизвестными, хотя этот район предместья был для меня привычным. Повсюду было темно, ни звука, ни огонька; только шуршали листья и свистел ветер поздней осени. И вдруг из-за какого-то поворота мы сразу вышли к громадному, ярко освещенному зданию. Лидия Сергеевна вежливо со мной простилась и вошла...

Я поколебался уходить: любопытно, что это за дом? Но вынырнувший из подъезда черный карлик с таким злобным подозрением повернул ко мне свои белки, что я почти невольным движением свернул за угол, сделал десяток шагов... и потом, как ни старался, не мог вернуться на прежнее место...

Кругом всё спало, не проходило ни души, и я почти отчаялся найти дорогу домой, как вдруг, точно волшебством, уперся прямо в бараки парижской выставки, которые, я бы подумал, были от меня отделены несколькими километрами.

Много раз потом, гуляя в этих местах, я пытался отыскать ясно запомнившийся мне большой дом, горевший в ту ночь сотнями огней, как на иллюминации. Нигде в Ванве, Исси-де-Мулино или Малахове мне не попадалось похожего здания.

Руки из пустоты

*Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит...*

А. К. Толстой, «Дон Жуан»

– Здравствуйте, профессор.

– А! Мой дорогой Ле Генн! Какой добрый ветер вас приносит? Но садитесь, садитесь же. Хотите, я распоряжусь, чтобы принесли чаю?

– Благодарю вас, друг мой. Сперва давайте поговорим о делах. Да... а дело-то состоит в том, что я желал бы знать, в каком, положении больной, которого к вам доставили в пятницу.

– Номер 38? По правде говоря, я еще не могу сказать вам ничего окончательного. Этот случай нельзя назвать простым. Пациент, доктор Ферран, был довольно хорошо известен в своем кругу, но не широкой публике. Он работал над опытами, кажется, в высокой степени любопытными, в области химии и психологии... в весьма специальной сфере.

– Да, я в курсе его изысканий.

– Так? Что до меня, я о них имею самое общее представление, и они меня главным образом занимают с точки зрения того, как они могли отразиться на состоянии больного. Первое предположение, естественно напрашивающееся, для объяснения тяжелой нервной депрессии и мании преследования, которыми страдает Ферран, это – искать корней в остром переутомлении. К этому близко и другое, высказанное моим помощником, мнение, что он испытал сильный моральный шок, проще говоря, был чем-либо испуган во время своих экспериментов; или, возможно, пережил серьезное разочарование, убедился, что его труд пропал даром и не дал никаких ценных результатов.

Профессор Морэн на минуту остановился. Ле Генн с живым интересом ждал продолжения.

– У меня, однако, возникла другая гипотеза, которая, впрочем, пока еще ничем не доказана, – снова начал затем психиатр. – Мне думается: не является ли причиной недуга какое-либо химическое средство, которое доктор Ферран умышленно или непроизвольно принимал при своих опытах? Это могли бы быть, скажем, пары или вещество, проникающее через кожу, но, еще скорее, он мог нарочно поглощать определенный препарат, стремясь выяснить его действие на организм... и злоупотребил им, не рассчитав свои силы. Конечно, я сделал всё для исследования его желудка, крови, функций... и признаться, пока, хотя признаки и недостоверны, они скорее поддерживают меня в данном направлении. Следовало бы хорошенько обследовать его лабораторию...

– Вы правы, профессор. Но между тем я хочу посмотреть самого больного. У вас не будет возражений?

– Конечно же нет, мой милый инспектор. Угодно вам, чтобы я вас проводил?

– Если это вас не стеснит.

* * *

Худощавый коренастый мужчина с густой щеткой жестких волос, бывших прежде черными, но сейчас от проступившей в них седины принявших какой-то железный отблеск, сидел на койке, сцепив кисти рук у себя на коленях. Его лицо, с квадратным подбородком, острым носом и тонкими губами, было, вероятно, умным и волевым в обычное время, но сейчас на

нем читались такие растерянность и страдание, что Ле Генн невольно подумал, что именно подобное выражение ждешь встретить у заключенного в камере для умалишенных.

– Мне очень неприятно вас беспокоить, доктор, – осторожно начал, когда они остались вдвоем, посетитель, на которого, казалось, больной не обратил никакого внимания, – в момент, когда вы нездоровы и нуждаетесь в отдыхе. Я надеюсь, однако, что вы меня извините: я прихожу по поручению начальства, как чиновник...

Ле Генн протянул было свою визитную карточку, но Анри Ферран только скользнул по ней безучастным взглядом, не изменяя позы.

– Министерство внутренних дел, – продолжал инспектор, – чрезвычайно заинтересовано теми исследованиями, которые вы вели, и придает им особое значение, считая, что они могут явиться фактором, имеющим сыграть важную роль в жизни страны.

На этот раз больной поднял на сыщика глаза, в которых отразилось мучительное томление.

– Мне поручено просить вас изложить, хотя бы в общих чертах, суть ваших работ и основные результаты, которых вы достигли. Я уверен, что вы, как лояльный гражданин и патриот, не откажетесь поделиться со мною вашими открытиями, тем более, что я уполномочен вам гарантировать полный секрет и обещать поддержку правительства для ваших дальнейших научных поисков.

Ученый заломил руки, и его лицо болезненно исказилось.

– Все совершенно бесполезно, – отозвался он глухим голосом. – Вполне бесполезно... Мои опыты оказались успешны; о, более успешны, чем я бы желал! Я открыл нечто потрясающее... нечто страшное... Но какой прок сообщать об этом публике, человечеству, хотя бы специалистам и правителям? Сообщать о кошмарной, неумолимой опасности, нависшей над нами, сторожащей нас на каждом шагу и против которой мы всё равно не в силах бороться? Пусть лучше никто ничего не знает; зачем отнимать у людей возможность хотя бы короткие дни прожить весело и спокойно? Пусть лучше я один буду посвящен в тайну, буду нести гнет ужаса за весь мир... Тем более, что – как знать? – быть может, пройдут еще и годы, и десятки лет, пока мы подвергнемся их нападению.

Ле Генн слушал с напряженным вниманием, тщетно усиливаясь понять.

– Но, послушайте, доктор, – рискнул он наконец, видя, что Ферран остановился, – насколько бы ни была серьезна та угроза для человечества, о которой вы говорите, не лучше ли раскрыть на нее глаза, если не всем, то авангарду людского рода, по меньшей мере? Ведь с какими трудностями человек ни справлялся за время своего существования на земле! Кто скажет? Может быть, и теперь, мужественно взглянув в лицо предстоящему испытанию, мы найдем способ его отвести...

Слова инспектора, видимо, произвели большое впечатление на доктора Феррана, который сделал несколько судорожных движений, и затем решительно нагнулся вперед, в направлении к своему собеседнику, и заговорил, понизив голос почти до шепота, быстро и почти не делая пауз:

– Пожалуй, что вы и правы. Лучше будет, если я вам всё расскажу и сниму с плеч ответственность. Она для меня одного слишком тяжела. Вообразите себе, – пока оставлю в стороне способ, – что я установил, что рядом, бок-о-бок с нашим миром, существует иной, незримый нам, но отделенный от нас лишь тонкой, хрупкой стенкой, подобной стеклу или слюде. И за ней обитают чудовища более отвратительные и свирепые, чем всё, что мы знаем на нашей планете, более неумолимые, чем самые кровожадные дикари, и в то же время одаренные большей интеллектуальной мощью, чем все наши мудрецы, и обладающие культурой, значительно высшей, и значительно более древней, чем наша... Покамест, они не хотят вмешиваться в наши дела – а они-то нас знают, и за нами следят! Но в любой момент их намерения могут перемениться, и тогда... о тогда...

Ферран вдруг вскочил с койки, и его руки нервным движением протянулись вверх, потом постепенно опустились, Ле Генн почувствовал с нетерпимой ясностью, что он ощупывал пальцами стену, словно бы тянущуюся наискосок через комнату, подобно наклонной крышке мансарды. Он с внутренней дрожью на миг интуитивно ощутил, что под ногтями большого скрипнула тонкая материя, похожая на целлюлозную пленку.

– «Четвертое измерение»?.. Вогнутое пространство?.. – шевельнулось у него в мозгу. – Но ведь это в совсем другом смысле!

Между тем Ферран распрямился во весь рост, его лицо словно бы просветлело, и он снова повернулся к своему гостю.

– Да, я должен вам всё рассказать, передать вам формулу моего состава и способ его употребления. Вы вернули мне веру в человеческий гений: надо, чтобы было сделано всё для защиты нашей расы и нашей культуры... И моя обязанность поведать обо всем, что я узнал, как можно скорее, пока не поздно: иначе они постараются мне помешать... Ведь они за мною, за нами всеми, непрестанно следят... Слушайте же: в основу моего изобретения легла работа над химическим анализом элемента, которому в науке дано имя...

Что произошло затем? Всю дальнейшую жизнь Ле Генн не мог не только связно рассказать, но даже и явственно вспомнить...

Он вдруг увидел, как откуда-то из пустоты, из пространства, словно сквозь два отверстия в прозрачной бумаге, в холсте кулис, просунулись две гигантских черных руки, и их толстые пальцы сжались вокруг горла Феррана, речь которого прервалась в леденящем хрипении нестерпимой физической боли и нечеловеческого испуга...

Инспектор сорвался со стула и бросился ему на помощь. Но в тот же миг его отшвырнуло назад точно бы волной воздуха, как бывает при разрыве снаряда, или при яростном урагане... Бретонец упал, больно ударившись головой об стену и затем об пол.

В глазах у него помутилось от дурноты, но он видел всё же, как тело Феррана приподнялось на несколько шагов от земли и корчилось короткие мгновения в последней агонии, а потом тяжело, как мешок, свалилось на паркет...

В ту же минуту дверь распахнулась, и в комнату вбежали профессор Морэн и его ассистент...

Первый же взгляд сказал им, что все попытки вернуть к жизни Феррана были бы напрасны; у него были сломлены шейные позвонки, но он еще до того умер, очевидно от удушья, а возможно, и от разрыва сердца...

Что до Ле Генна, он через пару минут вполне пришел в себя. Все трое могли еще заметить в центре комнаты странное движение воздуха и что-то похожее на клубящийся туман, который, впрочем, быстро рассеялся, и странный, замораживающий холод, тоже, однако, уступивший место нормальной температуре, да еще какой-то неопределенный, ни на что непохожий запах, растворившийся постепенно в воздухе...

Таким образом министерство осталось в неведении относительно практических достижений доктора Феррана в его странных исследованиях. Были бы шансы попытаться до истины, разбираясь в рукописях и материалах в лаборатории, где он работал, но там произошла не совсем понятная катастрофа, и взрыв уничтожил всё, что могло бы помочь следствию. Эксперты высказали предположение, что при опечатании помещения в нем остались вещества, подвергавшиеся какому-то опыту, и следствием реакции, продолжавшейся несколько дней, и явилась эта катастрофа.

Любовь мертвеца

Amar después-de la muerte.
*Pedro Calderon de la Barca*²²

Я возвращался домой последним метро. Поезд был почти пуст, особенно к концу пути, и я оставался единственным пассажиром в своем вагоне. Поэтому мое внимание невольно остановилось на девушке, которая вошла на одной из последних станций и, не взглянув на меня, села в противоположном углу.

Ей могло быть года двадцать два. Я сразу припомнил эту стройную фигуру, этот нежный овал лица. Года два тому назад одни мои знакомые, очень милая молодая пара, которые позже уехали в Америку, представили меня ей на каком-то балу. Мы обменялись всего двумя-тремя словами, и с тех пор я ее больше не встречал. Однако ее имя и фамилия сохранились где-то в глубине моего сознания.

При обычных условиях я не позволил бы себе напомнить моей случайной спутнице о своем знакомстве, слишком беглом и уже далеком. Ничто на свете не могло бы меня испугать больше, чем мысль, что меня примут за не в меру назойливого ловеласа. Но, кидая на нее время от времени взгляд, я всё больше чувствовал, что она находится во власти тяжелых переживаний – горя, заботы или страха, – целиком ее поглощающих и застилающих окружающий мир. Она сидела неподвижно, склонив голову на грудь, так, что волна темно-каштановых волос падала вперед на высокий лоб, опустив глаза, длинные ресницы которых кидали тень на побледневшие щеки; тонкие, нервные черты ее лица казались скованными глубокой задумчивостью. Конечно, беспокоить человека в такие моменты не деликатно... но, с другой стороны, не бывает ли иногда участие, от кого бы оно ни исходило, драгоценно именно тогда, когда нас мучит какой-либо тяжелый и неразрешимый вопрос, как это, видимо, было с моей попутчицей?

Поколебавшись несколько минут, я сделал над собой усилие, пересек вагон и поклонился.

– Извините меня... Мне кажется, меня с вами когда-то познакомили Черняковы.

Девушка подняла на меня взгляд; по ее губам скользнула бледная улыбка.

– Да, как же, я вас помню. Как они поживают, Черняков и его жена? Давно ли вы имели от них известия?

Я опустил на сидение напротив нее, и некоторое время наш разговор вращался вокруг общих знакомых. Как только этот сюжет был исчерпан, я сказал:

– У вас неважный вид, Елена Георгиевна. Вы похудели и побледнели за то время, что я вас не видел. Вы переутомились? Или были нездоровы?

– Нет, это не усталость и не болезнь... это другое, – ответила она словно рассеянно и на мгновение замолчала, как будто ее мысли унеслись куда-то далеко. Потом она внезапно подняла на меня синие и лучистые глаза; в их глубине я прочел страдание, от которого по моему собственному сердцу струей прошла боль.

– Вам не покажется странным, – продолжала она, словно принимая внезапное решение, – если я расскажу вам одну историю?

– Ничуть, – ответил я ровным тоном. – Мне самому несколько раз в жизни случалось рассказывать о себе, своих мыслях и интимной жизни людям, случайно встреченным в дороге, чужим и незнакомым... рассказывать так откровенно, как я не мог бы никому из близких... И

²² «Любовь после смерти» (исп.) – название одной из популярных драм испанского драматурга и поэта Педро Кальдерона де ля Барка (Pedro Calderon de la Barca; 1600–1681).

всегда после этого я чувствовал большое облегчение. Поверьте, я сохраню в секрете всё, о чем бы ни шла речь, и, если смогу, с удовольствием вам помогу.

Елена помолчала мгновение, а затем, вместо рассказа, задала мне вопрос, прямой и быстрый, как удар ножа.

– Вы были знакомы с Рахмановым?

– Да, – отозвался я, не задумываясь. – Среди людей, активно участвующих в политической работе, молодых и энергичных не так много, и с большинством из них мне приходилось встречаться. Мы с ним даже были друзьями. Правда, последнее время он отошел от политики и словно замкнулся в себе; мы виделись реже и отдалились один от другого... Конечно, если бы я знал тогда... Но его самоубийство было для меня совершенной неожиданностью.

Вдруг я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо; попытался удержаться – и покраснел еще больше. Я вспомнил слухи, что Рахманов покончил с собой из-за несчастной любви... никто не мог назвать точно женщину, бывшую причиной его смерти, но сейчас я внезапно понял, что она сидит напротив меня... хуже того – она отгадала все мои мысли...

По счастью для меня, поезд остановился; за окном в электрическом свете тянулась длинная и пустая площадка конечной станции. Мы вышли. Казалось естественным, чтобы я проводил Елену Георгиевну. Наверху лестницы нам навстречу пахнул сырой осенний ветер, со свистом несший вдоль широкого бульвара пожелтевшие листья. Довольно долго мы оба молчали, и лишь когда мы уже повернули вбок, в узкую и извилистую полутемную улицу, я собрался с духом возобновить разговор.

– Поверьте, я понимаю, Елена Георгиевна, как вам тяжело, но вы не должны слишком мучить себя... Ведь в конце концов вам совершенно не в чем себя упрекнуть. Нельзя себя принудить, и если вы не могли его полюбить...

– Я не говорю, что я не могла, – ее голос прозвучал глухо, словно издалека; она шла рядом со мною, но только когда мы проходили мимо одного из редких фонарей, я различал во мраке бледное лицо, на котором были видны сейчас не столько страдание, как усталость и задумчивость.

– Меня пугала его любовь, ее сила... Я чувствовала, что он живет мной одной, что я стала для него всем миром... и мне было страшно принять его любовь... мне казалось, что он потребует от меня слишком много... А вот в то же время другие могут любить весело и без усилия... тогда мне казалось, что мне больше нравится другой, на которого мне теперь и смотреть не хочется.

– Женщины всегда предпочитают самого ничтожного из своих поклонников, и того, кто любит их меньше всех, – не сумел я удержаться от горькой фразы и пожалел о ней, почувствовав дрожь, которая прошла по тонкой фигуре возле меня. Но Елена продолжала свой рассказ, словно не слушая меня.

– Теперь, после его смерти, я чувствую, что я его любила, что я только одного его и могла любить. Вот уже два месяца, а я только и могу думать о нем, день и ночь вспоминать каждое его слово, каждое движение... Мне кажется, что он всё время около меня, и жизнь для меня всё больше теряет смысл без него...

Ее голос звучал монотонно, будто она говорила во сне, будто она обращалась к самой себе и ей было безразлично, слушает ли ее кто-нибудь или нет.

– Что же делать, – сказал я почти резко, – теперь единственное, что вы можете для него сделать, это помолиться за его душу. А вообще, вам просто надо сбросить с себя такие настроения... постарались бы, в конце концов, развлекаться, или сосредоточились бы на какой-нибудь работе.

– Я пробовала, – отозвалась Елена тем же тоном, – пробовала всё... Но я могу молиться только губами, не сердцем... я в эти минуты вижу его перед собой, думаю, как мы могли бы быть счастливы, если бы... если бы всё случилось иначе... и меня охватывает отчаяние, гнев...

беспольный, бессильный. Нет, какая уж тут молитва... А развлекаться... мне на балу чудится, будто я смотрю на всех издали, из другого мира... из могилы... нет, я попыталась один раз себя принудить веселиться, и больше не буду. Быть одной всё же легче... Но это еще не всё, – вдруг перебила она себя, словно возвращаясь к сознанию, – я хотела вам рассказать другое.

На мгновение она замолчала, словно споткнувшись о невидимое препятствие, потом продолжала:

– Я была сегодня у одного человека... о нем говорят, что он колдун. У меня есть подруга, она давно мне про него рассказывала, но я никогда не хотела к нему пойти... потому что я считала, что всё это или обман, или грех и что-то скверное... Но теперь мне показалось, что он сумеет мне что-нибудь посоветовать.

– Боже мой! – воскликнул я, – этого еще не хватало! Обращаться к какому-то шарлатану! Да неужели вы, с вашим образованием и воспитанием, можете верить в такую чушь?

– Он не произвел на меня впечатления шарлатана. Трудно мне рассказать... Нас провели в его кабинет... он встал из-за стола нам навстречу... мужчина лет сорока, среднего роста, смуглый, черные волосы, с сединой... Глаза... Это, кажется, у Тургенева у кого-то из героев «колючий» взгляд? Не враждебный, но словно проходящий насквозь. Он ни о чем меня не спросил, взглянул мне в глаза и нахмурился (я знаю, что у меня короткая линия жизни: это мне уже не раз говорили гадалки), посмотрел мне в глаза... и так взглянул, будто кто-то стоит за мною... по его лицу что-то прошло, словно страх; он сделал даже шаг назад, и потом сказал... Он какой-то левантинец и по-французски говорит хотя и ясно, но со странными оборотами, иногда употребляя не совсем обычные слова... Он сказал: «Я вижу, что с вами происходит нечто страшное, но мне невозможно вам помочь. Чтобы вырваться от той власти, какая над вами, нужно большое усилие с вашей стороны, или помощь человека, который бы вас любил больше жизни... или священника, человека святой жизни... Молитесь – это лучшее для вас»... Я внутренне удивилась: какой он колдун, если советует молиться? Он, наверное, угадал мои мысли, и на них ответил: «Я – вне религии, но не против нее – смотрите, вы видите эту книгу?» – Я заметила на столе Евангелие. – «Откройте и прочтите, что вам выйдет». Я открыла и прочла: «Соблазны должны войти в этот мир, но горе тому, через кого они входят». «Но зачем гадать по этой книге? – продолжал левантинец. – К чему вмешивать ее в наши мелкие и суетные дела и страсти? Есть иной путь. Всякое вдохновение от Бога: поэт – тот же пророк. Сегодня ночью раскройте книгу любого поэта: до трех раз вы получите ответ на ваш вопрос о том, что с вами происходит. А потом действуйте, как сердце вам подскажет». Он отказался взять от меня деньги, хотя вообще их берет, и мне показалось, что он боялся коснуться того, что шло от меня, и ему хотелось поскорее со мной проститься. Я сейчас от него: вы поймете сами, что на душе у меня неспокойно.

В голосе ее звучало мучительное томление, и мне сделалось нестерпимо жалко эту девушку, которая очутилась перед лицом роковых вопросов. В непроизвольном порыве я взял ее под руку.

– Елена Георгиевна, вы не должны думать обо всей этой ерунде. Надо отдохнуть, стряхнуть с себя такие мысли, и вы увидите, что скоро всё пройдет, как дурной сон, и вы будете снова здоровы и счастливы. Жизнь быстро вас утешит, если вы оставите этот дурман; пусть он рассеется, как гнилой туман с болота...

Моя спутница вдруг остановилась и высвободила руку.

– Вот мой дом. Мы пришли.

Я растерянно стал бормотать слова прощания, но она меня удержала.

– Зайдите ко мне.

– Но удобно ли в такой час?

– Я живу с матерью, и она теперь работает ночью, а соседи не будут знать, да им и всё равно. Поверьте, что мне сейчас ничего не может быть хуже, как остаться одной. Посидите со мной несколько минут: мне так будет легче.

Я не возражал больше, и мы вошли. Повернувшись к двери налево от главного входа, Елена Георгиевна щелкнула ключом, потом выключателем, и провела меня в изящную комнату, обставленную несколько лучше среднего эмигрантского уровня. Я сел на диван около маленького круглого столика, хозяйка – напротив меня. Она достала из ящика письменного стола коробку папирос, предложила мне, нервно закурила сама, глубоко затягиваясь; через несколько минут ее рука потянулась к полочке с книгами у стены, рядом с нами.

– Я хочу попробовать, – сказала она таким тоном, что я понял бесполезность ее отговаривать. – Вот на этой полке у меня собраны одни русские поэты; на той, ниже – иностранные. Посмотрим, что они мне скажут.

Она раскрыла книгу и начала читать; с первой строки ее лицо побледнело, и голос задрожал:

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О, друг, всегда, везде с тобою
Душа моя...²³

– Это страшно! – прошептала девушка, словно обращаясь к самой себе.

Я постарался рассмеяться самым натуральным образом.

– Дорогая Елена Георгиевна, если вы берете Лермонтова, вы всегда должны быть готовы к романтическим излияниям в этом роде. У него ведь на каждом шагу и Демон, и Ангел Смерти, и Азраил... и Черный Монах... и кинжал, и отрубленные головы... и слова, которые «текут холодным ядом»... Решительно, вам еще выпало довольно скромное место. А если бы вы гадали по поэту повеселей, смысл предсказания оказался бы совсем иной.

Казалось, мои слова произвели на Елену некоторое впечатление. Она задумалась, потом сказала:

– Возьмите сами с полки любую книгу наугад, раскройте и дайте мне.

Под ее внимательным взглядом я выбрал небольшого формата томик. Протягивая его ей, я заметил на корешке надпись: «Полежаев». Глухо, словно издали, словно против воли, но со странной выразительностью прозвучал голос Елены:

Кто видел образ мертвеца,
Который демонскою силой,
Враждуя с хладною могилой,
Живет и страждет без конца?
В час полуночи молчаливой
При свете сумрачном луны,
Из подземельной стороны
Исходит призрак боязливый,
Бледно, как саван роковой,
Чело отверженца природы,
И неестественной свободы
Ужасен вид полуживой²⁴.

²³ Отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца».

²⁴ Отрывок из стихотворения А. И. Полежаева «Живой мертвец». Александр Иванович Полежаев (1804–1838) – поэт и

Струйка ледящего холода, словно снеговая вода, пробежала по моему позвоночнику; мне вдруг почудилось, что в комнате потемнело и контуры всех вещей заволоклись дымом; какое-то затхлое дыхание ощутимо повеяло передо мной. Елена взглянула на меня, будто ожидая новых успокоений, но у меня язык просто не поворачивался; наступившее молчание стало невыразимо тягостным.

– Ну вот, я возьму на этот раз Пушкина; он один из самых светлых и бодрых поэтов на свете... и из самых лучших... увидим его ответ на мои вопросы...

Большой фолиант, уютный, таящий в себе память тысяч любовных прикасаний, тихо лег на столик, покрыв его наполовину. Решительным жестом Елена распахнула книгу:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы –
Я тень зову, я жду Леилы:
«Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»²⁵

Я не сразу решился поднять глаза на Елену; должен признаться, меня пугало различить на этих живых, непрестанно меняющихся чертах, к игре которых я уже привык, выражение отчаяния, выражение человека, кому прочли смертный приговор; самое скверное, это что я не находил больше никаких аргументов к опровержению этого дикого гадания. Когда же я все-таки посмотрел на нее, я увидел совсем другое, пожалуй, худшее; унылый, спокойный взгляд, в котором пробивалось непонятное удовлетворение и полное фатализма спокойствие; можно было подумать, что она рада тому, что, наконец, все сомнения рассеяны, правда ей известна, и она знает теперь, что нужно сделать.

– Если уж допускать осмысленность подобных предсказаний, давайте и я попробую, – прервал я молчание, придавая своим интонациям, насколько мог, бодрый характер и придвигая к себе Пушкина. – Только у меня, по правде сказать, личной жизни почти нет: она вся сплетается с политической борьбой. Посмотрим, сумеет ли мне Александр Сергеевич что-нибудь сообщить на этот счет!

Я перевернул несколько страниц, выбрал одну из них, бросив наугад взгляд, и мое внимание остановилось на строках:

Товарищ верь! Взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна...²⁶

На этот раз я улыбнулся вполне искренно.

– Теперь вы можете убедиться, Елена Георгиевна, насколько нелепо значение, которое мы придаем этой глупой забаве. Мне, монархисту, выходят слова об «обломках самовластья». Смешнее, более некстати, право, уже ничего не может и быть.

Но Елена покачала головой, серьезно и задумчиво.

переводчик.

²⁵ Орывок из стихотворения А. С. Пушкина «Заклинание».

²⁶ Орывок из стихотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву».

– В наши дни, да еще среди нас, эмигрантов, если говорится о самовластье, без труда угадывают, о каком. Я рада за вас, и вообще рада: лучше предсказания, пожалуй, не придумаешь на заказ. Однако, если уж на то пошло, загадайте о вашей личной судьбе.

Для разнообразия я вытащил с нижней полочки маленький томик Альфреда де Виньи²⁷ в элегантном черном переплете.

Мне попала «Смерть волка»:

Le loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au fanc jusqu'à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang;
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri²⁸.

– Что же, – проговорил я после короткой тишины, поддаваясь обаянию несравненных александрийских строф, – это уже не предсказание, это совет... И совет подходящий. Да, я желал бы умереть так, стиснув зубы, как волк, в непреклонном бою, не убегая и не прося пощады...

Во взгляде Елены мелькнуло сочувствие; потом она медленно, словно нехотя, поднялась и протянула мне руку.

– Уже поздно; вам надо отдохнуть, да и мне тоже. Спасибо вам: мне приятно иметь подле себя друга в эти минуты: без вас мне было бы куда тяжелей. – Она сказала это тепло и товарищески, и в ее зрачках замерцал на мгновение мягкий свет.

Может быть, мне не следовало уходить. Если бы я остался еще с нею, многое могло бы измениться, и моя душа не знала бы теперь тех мучительных упреков, какие мне часто мешают спать по ночам. Но как я мог? Правда, в тот миг, когда я сжал в руке ее холодные тонкие пальцы, мною овладела такая безумная жалость и нежность к этой бледной синеокой девочке, что я с трудом подавил в себе желание взять ее в объятия, приласкать, как ребенка, поклясться ей, что моя любовь защитит ее от любого наваждения, не допустит никаких призраков до нее дотронуться, хотя бы все адские силы на меня восстали, что я заставлю ее забыть обо всем, и вырву ее у нее самой... Но мы все привыкли откладывать вещи на завтра. Разве я знал, что этого завтра не будет?

* * *

Только что прошедший дождь освежил воздух, и я жадно втягивал его в легкие, словно вырвавшись из душной атмосферы; огоньки фонарей весело искрились в десятках луж на асфальте; вид глухого парижского тупика представился мне почему-то сказочно-прекрасным, будто я вернулся к жизни, выйдя из могилы; было сыро и холодно, но от ходьбы я быстро согрелся...

²⁷ Альфред Виктор де Виньи, граф (Alfred Victor de Vigny; 1797–1863) – французский писатель, военный и общественный деятель. Один из наиболее значительных представителей французского романтизма.

²⁸ Волк бросает загрызенного им пса и поворачивается к нам. / Ножи, всаженные по рукоятку ему в бок, / Пригвозждают его к окровавленной земле; / Наши ружья окружают его зловещим кольцом. / Посмотрев на нас, он ложится, облизывая кровь, / Покрывающую его морду, / И, не стараясь разобрать причину своей гибели, Умирает, не издав ни звука. – *Перевод автора.*

На следующий день, лишь только я позвонил у подъезда Елены, возбужденная консьержка мне сообщила, что ее уже нет в живых, и словоохотливо засыпала меня подробностями.

Помню, я слушал ее пораженный, прислонившись к стене, не в силах вымолвить звука... Мать, вернувшись с работы, нашла Елену мертвой в постели; около нее на столике флакон снотворного, чрезмерную дозу которого она приняла...

Инцидент наделал шуму и попал даже во французские газеты, где фигурировал под заголовком: «Несчастный случай или самоубийство?». Конечно, я скорее склонен думать, что это было самоубийство. Хотя иногда в мой мозг закрадывается сомнение: она ли сама пожелала уйти к своему страшному возлюбленному, или его рука, протянутая из неведомых пространств иного света, прикоснулась к стакану у ее изголовья?

Хранитель

*Cave ne eas!*²⁹

В тот час, когда все улицы Парижа внезапно заполняются человеческой массой, непрерывным потоком льющейся из дверей различных учреждений, – в полдень, или, чтобы быть точным, в десять минут первого одного ясного и жаркого весеннего дня, на площадь Конкорд вышел из конторы общества «Эклэр Пюблисите» худощавый молодой человек среднего роста. Его лицо с черными живыми глазами было если не красивым, то привлекательным, но в этот момент на нем лежал отпечаток какой-то растерянности и нервности, выдававшей себя невольными движениями заложенных за спину тонких пальцев его рук и взглядом, которым он бродил по мостовой, низко опустив на грудь темно-русую голову.

Он весь вздрогнул, когда его внезапно окликнули по фамилии, и, подняв голову, с удивлением смерил глазами высокого светловолосого мужчину, остановившегося напротив него.

– Простите меня, мсье де Серпиньи, – учтиво сказал незнакомец, – инспектор Ле Генн из «Сюрте Насиональ»³⁰. Мне хотелось бы с вами поговорить. Неприятно занимать время вашего обеденного перерыва... Но, может быть, мы могли бы пообедать вместе в вашем обычном кафе? Или это вас стеснит?

По лицу Серпиньи на протяжении секунды прошла целая гамма чувств: изумление, испуг, вызов...

– Если разговор короткий... я думаю, что так? Зайдем в сад и там, на скамье, мы сможем беседовать не стесняясь, без свидетелей.

Через несколько минут они расположились в тени, на террасе Тюльерийского сада, высоко поднимающейся над улицей Риволи и безлюдными в этот час усыпанными гравием дорожками. Широкая площадка была пуста, лишь в отдалении одинокая старушка прогуливалась двух собак...

– Итак, чем могу служить? – с недоверием и настороженностью, смешанными с любопытством, спросил молодой человек.

Его собеседник слегка склонил голову.

– Я надеюсь, вы извините меня, если некоторые из моих вопросов покажутся вам нескромными. Заверяю вас, вы в дальнейшем увидите, что я имею серьезные основания вам их задавать. Знакомы ли вы с мсье Анри Ламаром, архитектором?

– Да, сударь, несколько лет. Почему вас это интересует?

– Это имеет некоторое значение для последующего. Некоторое время тому назад вы представили мсье Ламару и его дочери некоего мсье Эдмона Берже, вашего товарища по лицу. Если я не заблуждаюсь, однако, мсье Берже никогда не был вашим близким другом... – в тоне инспектора прозвучал вежливый вопрос.

– Поскольку вы знаете, я не вижу нужды скрывать, что никогда не любил особенно Берже. Еще подростком, когда мы встретились с ним в лицее Мишле, он был плохим товарищем, всегда страшно самоуверенным и эгоистичным... Так это о нем вы хотите разузнать? За ним есть что-нибудь?

– Нет. Но вы, кажется, имели основания пожалеть, что ввели его в дом Ламаров?

Серпиньи поколебался; кровь на мгновение бросилась ему в лицо; потом он тряхнул головой и ответил прямо, почти резко:

²⁹ Берегись; не ходи! (*лат.*)

³⁰ *Sûreté National* – французская служба национальной безопасности.

– Имел. Я сделал серьезную ошибку. Он несколько раз ставил меня в неприятное положение, стараясь сделать меня смешным в глазах Габриэли, пользуясь тем, что я не всегда мог сдержать свое раздражение по поводу его шуток. А перед ее отцом... Он ловко подчеркнул мою материальную необеспеченность; хотя это далеко не правда: я как раз скоро получу повышение по службе, и он знает, что рано или поздно ко мне перейдет имение моего дяди в Пуату... Хотя всё это не имеет отношения к делу.

– Больше, чем вы думаете. Несмотря на все эти обстоятельства, вы сохранили внешне приятельские отношения с Эдмоном Берже, и недавно вы предложили ему провести летом отпуск вместе в Бретани. В районе Керпен Ир, в Морбигане, если я не ошибаюсь?

Серпиньи не мог удержаться от жеста изумления.

– Это всё верно, но как вы могли узнать? Разговор между нами был только вчера вечером. Или сам Берже?..

– Не торопитесь с заключением. По случайному совпадению, я знаю эти места. Вы там уже бывали?

– Да, прошлым летом.

– Живописный край, хотя довольно мрачный. Особенно хороши прибрежные скалы, с их отвесными кручами, откуда открываются такие красивые виды. Но они столь же опасны, сколь привлекательны: один неверный шаг в тумане, сорвавшийся на тропинке из-под ног камень... башмак, соскользнувший на мокром от дождя граните... и неосторожный путник летит вниз, в бездну, где его труп подберут лишь через долгие часы, среди обрызганных кровью валунов отмели... если его не унесет прежде море в час отлива...

Ле Генн пристально смотрел на гравий площадки, лежавшей перед скамьей, словно избегая встретиться глазами с Серпиньи, лицо которого побелело как лист бумаги.

– Легкий толчок... И освободиться навсегда от соперника, наказать человека, поступившего низко, оскорбившего и обманувшего своего друга. Но потом? Не будет ли его тень всегда стоять между вами и счастьем? Поверьте, мсье де Серпиньи, что я больше всего думаю о вашей собственной судьбе. Больше, чем об участии Берже, – которому в моральном отношении грош цена. И больше, чем об интересах правосудия, – это ведь, в конце концов, абстракция. Но вы происходите из семьи, в которой несколько сот лет принципы чести и веры стояли всегда на первом месте. Мне не хотелось бы, чтобы вы в двадцать два года испортили навсегда жизнь одним неосторожным, но непоправимым поступком...

– Впрочем, – добавил он после короткой паузы, – я не думаю, чтобы вы это всё же сделали теперь, когда вы знаете, что действительные причины подобного несчастного случая не остались бы втайне.

Молодой человек с трудом перевел дыхание и судорожным движением стал искать в кармане папиросы, которых у него не было.

Инспектор любезно протянул ему свои, чиркнул спичку и дружески ему улыбнулся.

– Нет, я этого не сделаю, мсье Ле Генн... И... спасибо вам. Это меня вы удержали на краю пропасти. Но скажите, каким образом, откуда вы могли знать? Знать то, что я только думал, никому не раскрывая, в чем самому себе не решался признаться?

В его взгляде, устремленном на Ле Генна, читалось что-то, похожее на восхищение.

– Теперь я могу сказать вам это, мсье де Серпиньи, так как у меня есть основание думать, что вы мне поверите. И я хочу, чтобы вы знали, что я явился на этот раз только орудием в руках Провидения. Три ночи подряд мне снился один и тот же сон: я видел утесы над Морбиганским заливом и двух молодых людей на тропинке. Видел, как один из них сталкивал другого в море, и его бледное, решительное лицо прочно врезалось мне в память. Ваше лицо, Серпиньи... И когда я встретил вас у входа в метро Конкорд, месяц тому назад, я не колебался проследить вашу дорогу – всё это часть моего ремесла – и навести справки... Вот почему я смог сделать вам предупреждение.

– Между прочим, – добавил он несколько минут спустя, – я выяснил попутно некоторые вещи о вашем приятеле Берже. Например, его связь с мадам Брейль, с которой вы тоже знакомы. Я думаю, эта история так или иначе дойдет до сведения мадемуазель Ламар. Женщины в таких случаях реагируют по-разному, но она, сколько я понимаю ее характер, отнесется к этому делу весьма сурово. Весьма вероятно, вы выйдете победителем из турнира, даже не прибегая к радикальным средствам...

Вампир

Und zu saugen seines Herzens Blut.
Johann Wolfgang Goethe, «Die Braut von Corinth»³¹

Странно, я не могу припомнить, от кого первого услышал о мадам Андриади. Я уже о ней кое-что знал, когда знакомая дама рассказала мне, что в церковь советской патриархии, на улице Петель, ходит женщина-вампир; что несколько лет назад она едва не погубила одну девушку, которую довела до нервного расстройства и которая спаслась из ее когтей лишь тем, что ушла в монастырь.

В этот период я был в наилучших отношениях с Лидией Сергеевной и, сидя через неделю или две у нее в гостинной, упомянул об этих случаях, отзываясь о них, как о явном и комичном вздоре.

Мать Лидии, Мария Борисовна, подняла на меня свои умные серые глаза, скрытые за большими очками.

– Я бы не решилась говорить так определенно, – сказала она. – Я угадываю, кто эта женщина. Ее зовут Юлия Васильевна Андриади.

Это был первый раз, что я услышал имя, которое теперь не мог бы, как бы ни хотел, никакими усилиями вырвать из памяти.

– Не может быть, однако, чтобы она в самом деле была упырем? – спросил я, стараясь выказать больше скептицизма, чем в реальности чувствовал. Я уже несколько лет жил в Париже и в глубине души отдавал себе отчет в том, что, когда речь идет об этом городе, есть очень мало вещей, о которых твердо можно сказать, что они невозможны.

– Я этого не стану утверждать, – отозвалась Мария Борисовна, – но я знаю, что доктор Сарматов два раза делал девушке, которой касается эта история, переливание крови и что он описывал случай, как небывалый в своей практике: вся кровь меньше, чем за сутки, исчезала, и на следующий день пациентка вновь стояла на пороге смерти, так как ее жилы оказывались почти пустыми. Вампир ли она или нет, но прошло уже двадцать лет с тех пор, как я встрети-лась с мадам Андриади в первый раз. За эти годы я стала из молодой женщины старухой, а она совершенно не переменилась. Иногда я замечаю, что она слабеет, а потом опять вижу ее помо-лодевшей, здоровой и веселой. В такие дни я думаю про себя: нашла себе новую жертву. Та девушка – не единственная, кому знакомство с Юлией Васильевной не принесло добра. Было другое происшествие, с молодой француженкой; та не сумела бежать, и умерла от разрыва сердца. Во всяком случае, эта дама у нас никогда не перейдет через порог, хотя ей, видно, этого и хочется... Одно дело – найти естественное объяснение; другое – наблюдать факты, делать из них выводы и вести себя осторожно там, где грозит опасность. И вам, – добавила она, наверное прочтя в моем взгляде любопытство, – очень не советую с ней знакомиться.

В этот момент я не собирался этого знакомства искать. Позже это оказалось для меня необходимым.

* * *

Бывают знакомые, с которыми интересно поговорить о литературе, с другими о политике; бывают такие, с которыми приятно вместе развлекаться, и такие, у кого всегда можно полу-чить хороший практический совет. И бывают такие, самые драгоценные, с которыми просто приятно побыть вместе.

³¹ «И его я высосала кровь». И.-В. фон Гёте, «Коринфская невеста» (нем.).

От одной очень умной женщины, Натальи Николаевны Лобановой, я когда-то услышал рассуждение, сперва поразившее меня своей зловещей и циничной формой, но которое я впоследствии находил чем позже, тем более верным и глубоким.

– Мы все, – сказала она, – или вампиры, или жертвы вампиров. Почему нам порой нестерпимо тяжело с человеком, как будто не говорящим и не делающим нам ничего неприятного? Почему после иной встречи мы чувствуем себя разбитыми, почти больными? И в то же время четверть часа с другим, даже не особенно близким человеком, придают нам бодрость на целый день? Дело в том, что одни поглощают нашу жизненную энергию, а другие пополняют. Флюиды одних мы бессознательно, с жадностью пьем, другие пьют наши. Вы жалуетесь на беспричинную усталость и меланхолию: я могу вам их объяснить. Среди кого вы возвращаетесь на ваших политических собраниях и заседаниях? Вокруг вас старики, почти сплошь одинокие и бездетные, близкие уже к могиле, но полные еще честолюбия и вождельных, цепко хватающиеся за жизнь. Они высасывают наши силы; вот почему вы чувствуете себя за год постаревшим на десять лет; и если вы не перемените среду, вы рискуете заболеть... если не хуже... Да, я знаю, вы скажете, что есть люди, которые взаимно приятны; что же, это случай, когда излучения одного пополняют силы другого и наоборот. Так и бывает, например, всегда при счастливой любви.

Флюиды, которые я встречал в маленькой квартирке около метро Коммерс, были для меня, должно быть, очень благоприятны. На ее пороге, от одной приветливой улыбки хозяев или вернее хозяйек, у меня на душе становилось спокойно и ясно, и меня охватывало почти физическое ощущение тепла и уюта.

Надежда Андреевна была еще молодая женщина, хотя и старше меня, и принадлежала к той же единственно близкой мне среде новой эмиграции, на личном опыте изведавшей прелести советского рая и великодушные демократических держав. Но, как часто бывает среди нас, никакие затруднения не оказались для нее непреодолимыми. Не имея ни копейки, в чужой стране, не зная языка, – устроить себе бумаги, найти службу, работать целый день и всегда быть готовой поболтать и посмеяться, – всё это было ей нипочем. Старые эмигранты дивились, кто дружески, кто с завистливой враждебностью, на ее несокрушимую и веселую жизнеспособность.

Я был знаком с Надеждой Андреевной всего три года, но мне казалось, что ее дочку Любу я знал чуть ли не с колыбели. Может быть, потому, что за это время, с двенадцати до пятнадцати лет, она так сильно выросла у меня на глазах. Мне довольно было взглянуть на ее черную челку и большие и наивные глаза, чтобы скинуть с плеч все заботы и испытывать только желание шутить и дурачиться, словно я становился ее ровесником; и я мог часами безо всякой скуки слушать ее щебетание, где забавно мешались русские слова и французские, чаще всего о последних фильмах, большую часть которых она не видела, но хотела бы посмотреть. Сколько бы у меня ни лежало денег в кармане, я еще никогда не входил в эту комнату, под самой крышей ветхого старого отеля, без коробки конфет или хотя бы плитки шоколада; ни за что не хотел бы потерять удовольствие поглядеть, как всё это быстро исчезало под ее зубами.

В этот вечер мне пришла нелепая идея развлечь Надежду Андреевну и Любу страшным рассказом (обе, а Люба особенно, как почти все девушки, обожала жуткие истории), и я передал им все накопленные мной сплетни о мадам Андриади. Только встретив расширившиеся от ужаса карие глаза девочки, я спохватился, что на этот раз пересолил.

– Мама, а что, если она придет сюда? – совсем по-детски спросила Люба.

– Да неужели вы всерьез поверили в такую сказку? – поспешно откликнулся я. – Всё это я только придумал, и таких женщин вообще нет на свете, и уж конечно в Париже. Можно ли себе вообразить вампира, катающегося в метро, звонящего по телефону, ходящего в кинематограф? А знаете, по дороге к вам, я заметил афишу нового фильма с Сесиль Обри... вы его уже смотрели?

Прием подействовал, и к концу вечера я мог еще раз просмотреть альбом Любы с коллекцией всех кинозвезд обоего пола, прослушать ее план написать роман с похищениями и убийствами на каждой странице и обсудить, куда она поедет с мамой в путешествие на вырученные от издания деньги.

Только когда я был на полдороге домой, я заметил какое-то беспокойство, постепенно пробивающееся через приятное настроение, смесь веселья и нежности, которые я унес с собой с темной улочки близ Коммерс. Что это за тень омрачала мои мысли? Я взглянул внутрь себя, и вдруг мне ясно вспомнились объяснения из какого-то старого оккультного романа: «Вампир в первую очередь выбирает жертв среди тех, кто знает о его существовании и его боится. Страх, и вообще всякая постоянная мысль о нем, передается ему даже на расстоянии и служит нитью, привязывающей и ведущей к жертве: тем более, что, по странному свойству человеческой натуры, к этому страху нередко примешивается любопытство, и даже желание увидеть чудовище...»

– Надо будет поменьше читать дряни, – лениво подумал я, – начинает мне действовать на нервы. Это всё влияние Лидии Сергеевны...

* * *

Прошло больше трех недель, пока я собрался посетить Надежду Андреевну. В маленькой каморке было в этот летний день жарко, но я почувствовал, что рука Любы, которую я пожимал, непривычно холодна, и, взглянув на нее внимательнее, удивился происшедшей в ней перемене. Ее румяные щеки были бледны, как алебастр, глаза казались больше от синих теней возле них, круглое личико удлинилось, став тоньше и словно задумчивее. Но больше всего меня взволновало неуловимое выражение в ее чертах... какая-то смесь апатии, затаенного страха и покорности, скрытые в глубине, и лишь проблесками появившиеся на поверхности.

– Что! это с вашей дочкой? – спросил я у Надежды Андреевны.

На лице у той мелькнуло беспокойство, но она быстро его подавила.

– Должно быть, растет слишком быстро. Говорят, малокровие и нервы. И правда: по ночам кричит, вскакивает или не может заснуть. А я, как нарочно, сплю как сурок, особенно когда наработаюсь. Что это тебе сегодня снилось, Любочка?

– Ужасно противное... Больше всего летучие мыши снятся, а иной раз черные кошки. Но знаешь, мама, сегодня мне это не снилось: я проснулась и увидела на подоконнике большого черного кота. И так напугалась, что бросила в него книгой, и сегодня утром побежала за ней во двор и нашла ее под нашим окном.

– Откуда бы это? В отеле как будто ни у кого такого нет... С крыши из другого дома, верно. Надо, пожалуй, закрывать окна на ночь, да ведь душно... А, впрочем, чего же бояться кошек?

– Я не боюсь, только не пойму, откуда у меня на шее вот эта царапина? Третьего дня вечером не было, а утром видите, какая?

– Лучше закрывайте! – поддержал я, чувствуя, что бледнею. – Ну а вы что же, Любу послали к доктору?

– Как же, к Сарматову. Мы давно у него лечимся. И знаете – такой чудак! – что он прописал? Говорит, пусть непременно ест побольше чеснока. Уж я ее никак не могу заставить.

– Я не буду, мама! – закричала Люба. – Надо мною уже все девочки в школе смеются. Ни за что больше в рот не возьму...

Меня взяло раздумье. Насколько чеснок помогает от малокровия – я не очень хорошо знаю, но что он на Балканах и в Средней Европе считается лучшим средством для отогнания нечистой силы, это я помнил определенно. Рецепт доктора Сарматова показался мне при данных обстоятельствах весьма уместным...

– Вот что, Люба, – сказал я как мог убедительно, – докторов всегда надо слушаться. На следующей неделе я спрошу Надежду Андреевну, всё ли вы выполняли, и, если да, принесу вам коробку (самую большую, какая найдется в магазине) тех конфет, что вы больше всего любите.

– Pâtes d'amande, alors!³²

– Ладно.

Выходя от Надежды Андреевны, я задержался в темном коридоре, отломил кусочек извести там, где знал, она осыпалась, и начертил им на дверях моих друзей пентаграмму. По счастью, я хорошо помнил ее форму. Но окно? В нем-то, кажется, и опасность...

* * *

Старого доктора Сарматова я разыскал без труда. Его добрая половина эмиграции знала и любила. Я почувствовал себя сразу хорошо и просто с этим милым русским интеллигентом, напомнившим мне живо врачей, друзей отца, которые, бывало, у нас собирались за столом в годы моего детства. Представившись как старый знакомый Надежды Андреевны, я сказал, что беспокоюсь о здоровье Любы и хотел бы знать точнее, что у нее такое.

Доктор слегка пожал плечами.

– В данный момент ничего серьезного. Острое малокровие и немного нервы не в порядке. Может быть, от переходного периода; весьма вероятно, что через месяц будет здорова. С другой стороны, я не уверен, что нет какой-нибудь другой причины и не возникнет осложнений. Надо немного подождать. Пока не нахожу ничего опасного ни в легких, ни с сердцем, – и, поколебавшись, он прибавил: – перемена климата могла бы быть бесспорно полезна, да ведь трудно в наших эмигрантских условиях...

– Видите ли, доктор, – начал я невинным тоном, – я себя упрекаю за одну неосторожность, и хочу вам ее изложить. Я недавно рассказал при Любе одну историю, которая, боюсь, произвела на нее слишком сильное впечатление и могла тяжело подействовать на ее психику.

И я в подробностях передал врачу толки о мадам Андриади.

Его лицо омрачилось, как может быть бывало, когда он должен был поставить неприятный диагноз.

– Ваша неосторожность, пожалуй, серьезнее, чем вы думаете. Если бы тут вопрос был только в психической травме! Но есть и другое. Ах, не в первый раз попадаетесь на моем пути эта Андриади...

– Будем говорить начистоту, доктор. Я не могу допустить, чтобы на моей совести остался такой страшный упрек: быть виновником, хотя бы и неумышленным, подобной трагедии. При этом эта девочка дорога мне, как если бы она была моей дочкой или сестренкой. Расскажите мне всё, что вы знаете. Так или иначе, я приму свои меры: но нам не повредит посоветоваться.

До позднего вечера сидели мы при лампе в холостяцкой квартире Сарматова: то понижая голос, то опять спокойным тоном лектора рассказывал он мне невероятные факты из своей практики; мы живо спорили над тем или иным определением в трактатах средневековых схоластов и юристов Ренессанса; обсуждали финские и румынские поверья, и всё, сплетаясь клубком, вело нас к страшным техническим деталям предстоящей тяжелой работы, от которой уклониться не позволял долг...

³² Тогда миндальных! (*фр.*)

* * *

В обычные дни я, если уж не мог миновать улицы Петель, переходил на другую сторону, чтобы не идти рядом с квадратным зданием с надписью славянской вязью: церковь советской патриархии в моем представлении была не храмом, а капищем, и, как я говорил друзьям, я не удивился бы, увидев, что в ней на алтаре сидит Сатана и помахивает хвостом.

Но в это летнее утро, я чинно стоял там на обедне, пристально разглядывая молящихся, которых было немного. Имея ее приметы, мадам Андриади я узнал без труда. В переднем ряду стояла среднего роста женщина с платиновыми, вероятно крашеными волосами. Несколько раз она оборачивалась, и я схватывал бледное лицо с ярко красными от губной помады губами: один раз их искривила усмешка, в которой было выражение до того жестокое и зловещее, что меня передернуло.

На вид случайный наблюдатель сказал бы, что это молодящаяся дама лет под сорок, которой в удачный момент можно дать и тридцать пять, но от Сарматова и Марии Борисовны я знал, что ей, во всяком случае, не меньше шестидесяти. В ней было что-то... ненастоящее. Не парик или вставные зубы, или белила... нет, словно всё ее тело было футляр, скрывающий нечто совсем иное, о чем я невольно думал, как о холодной и скользкой змеиной чешуе, как об оскаленных челюстях вечно голодного крокодила.

На улице, недалеко от выхода из церкви, я согнулся в галантном поклоне:

– Извините меня, Юлия Васильевна. Мне бы очень хотелось с вами побеседовать по одному делу. Здесь неудобно, но если бы я мог к вам зайти...

– Пожалуйста, буду очень рада, – кровавые уста улыбались на этот раз приветливо до слащавости, но оловянный взгляд, упертый в мои зрачки, был давящим и тяжелым. Я не опустил глаз.

– Только я так поздно кончаю работу... Вы не слишком рано ложитесь?

– Наоборот, очень поздно. Завтра, часам к одиннадцати вечера, хотите? Я тоже о вас слышала, мсье Рудинский, и с удовольствием познакомлюсь с вами ближе. Я живу...

Адрес и даже расположение квартиры были мне уже известны. Я принял необходимые меры предосторожности...

* * *

Я надвинул шляпу на глаза, но улица была совершенно пустынна: дверь большого дома не была заперта, и консьерж не взглянул на меня, когда я проскользнул мимо его комнаты к лифту. Квартира мадам Андриади занимала целый этаж, и никакие соседи не могли слышать моего звонка.

Она открыла мне сама: я знал, что горничная не остается на ночь. Под любезной маской я прочел не радость, а торжество: ликование дьявола, вцепляющегося в беззащитную добычу...

Мы прошли несколько комнат, причудливо и довольно безвкусно убранных: аквариумы, статуэтки, ковры, тигровая шкура на полу... со стен смотрели маски монгольских злых духов, скалил зубы чудовищный бог смерти Кала Нага, плясала на большом панно кровожадная Кали в ожерелье из черепов...

– Садитесь и расскажите, чем я могу быть вам полезна, – улыбалась хозяйка. – Позвольте вам налить вина. Правда, какого оно красивого цвета?

В бокале пурпурная жидкость казалась кровью.

Я не мог отказаться: ледяная влага перехватила мне дыхание, потом обожгла, как расплавленная медь, но хозяйка налила себе из той же бутылки и медленно отпивала, глядя, как преломляются лучи света о рубиновую поверхность жидкости.

В моей левой руке был пакет, похожий на свернутый чертеж. Я положил его на буфет, извиняясь, что работаю по вечерам в чертежной конторе, и не имел возможности зайти домой; затем начал плести длинную историю о том, как много о ней слышал, как меня интересовали ее познания в оккультных науках, за пределами доступного простому смертному, как много мне могло бы дать знакомство с нею...

– Но я не отнимаю у вас времени? Может быть, вы могли бы провести его приятнее, чем слушая мои просьбы и вопросы? – перебил я сам себя через некоторое время.

– Нет, я не жалею для вас времени. Если бы не вы, я думала нанести сегодня визит одной молоденькой девушке... но я это сделаю позже.

– Да вы, кажется, отдасте предпочтение собственному полу перед мужским, Юлия Васильевна. Боюсь, что мы представляем для вас мало интереса, – под бледными фразами чувствовалось, как скрещивается сталь, как растут напряжение и угроза. Я перехватил между тем, несколько взглядов, брошенных хозяйкой на часы, где стрелка медленно ползла к двенадцати.

– Вы в принципе правы, – проговорила мадам Андриади небрежно. – Мы, женщины, ближе друг к другу, и нам легче одной от другой получать запас новых сил... моральных, конечно... чем от мужчин, которые совсем иные существа. Многие женщины, впрочем, в остальном похожие на меня, предпочитают чужой пол. Но мужчина, как вы, молодой, полный энергии, может заинтересовать и меня... надеюсь, наша встреча для нас будет успешной и приятной во всех отношениях. Вы хотите приобщиться к нашему миру? Раз вы приняли решение, будьте спокойны, я вам помогу... ничто меня от этого не удержит... моей воле нет препятствий, как той стрелке, которая сейчас показывает двенадцатый час.

Гибким движением мадам Андриади поднялась на ноги и, обходя длинный стол, двинулась ко мне. В ее походке было нечто танцующее... но более похожее на ритуальные пляски востока, чем на европейские танцы... и в то же время нечто грозное неотвратимое.

– Вы войдете в наш мир, раз вы вошли в мои покои. Я вам подарю наши радости и нашу силу. Радость летать в лучах луны, чувствовать горячую кровь на губах, любить любовью, которая убивает... бросать вечный вызов Богу и природе, таинственно общаться с теми, кто живет в великой бездне... Ты замышлял меня погубить, но, безумный, ты встал на путь, которого не хотел. Никто не видел, как ты вошел, и не увидит, как ты выйдешь... И если ты выйдешь, то будешь уже иной.

Ее руки вытянулись ко мне, лицо озарилось странным экстазом, придавшим ему демоническую красоту, глаза сияли... зубы под раздвинувшимися губами, большие, белые, блистали, как клыки...

– Ты думал об этой девочке... Но она моя... Потом, может быть, в нашем мире, ты встретишь ее...

Пальцы, как когти, тянулись к моим плечам: я отступил на шаг к буфету. Из горла существа передо мной (я бы не мог назвать ее Юлия Васильевна или мадам Андриади – это был бы нонсенс) вырвался клокочущий смех.

– У тебя нет оружия... и никакое оружие мне не опасно... ни нож, ни пуля...

Нельзя было терять ни секунды. С тем хладнокровием, которое является вдруг в минуту величайшей опасности, когда всякое движение делается быстрым и точным, я в одно мгновение сорвал и сбросил на пол толстую желтую бумагу, и в моих руках остался деревянный кол с остро заточенным концом.

– Ведь дерево, не сталь... да еще осина... – мелькнуло у меня в мыслях – если бы подлиннее, удобнее бы бить... – но тело уже пригибалось, и, сжав свое оружие в руках, я ударил изо всей силы снизу вверх и справа налево. На десятую секунды, застывшую в моем сознании, лицо передо мною изобразило невероятный страх, какого нельзя ни видеть, ни описать на лице обычного человека... Острие вонзилось в мясо, и бредовая фигура передо мной обрушилась на спину...

Ничего за всё мое существование не было кошмарнее тех нескольких минут, которые последовали за этим... Я иногда теперь вздрагиваю в веселой компании, бледнею во время путешествия в автобусе, не могу заснуть из страха, что снова увижу во сне то, что мне неумолимо рисует память... Минуты, когда, склонившись над лежавшим навзничь трепещущим ужасом, я налегал всем своим весом на кол, пока не услышал глухой удар дерева о дерево...

И несколько минут потом... Как я смотрел на посинелое лицо у моих ног, подвергавшееся странной метаморфозе... Платиновые волосы на моих глазах превратились в седые лохматые космы... лицо еще молодой женщины превратилось в страшную маску древней старухи... И не прошло пяти минут, как в комнате ясно стал ощущаться всё усиливающийся трупный запах.

Это было слишком много для меня. Потушить свет я не был в состоянии, ибо пройти в темноте мимо того, что лежало на полу во всё растущей луже крови – словно вся кровь жертв рванулась на свободу – было бы свыше моих сил. Лучше сто смертей, чем это.

Амфилада, через которую я прошел меньше часа назад, представлялась мне лабиринтом: я безо всякой нужды ударялся о стены, спотыкался о стулья; словно для того, чтобы добраться до двери, нужны были века и невероятные, сверхчеловеческие усилия. И в то же время я знал, знал инстинктом, что пока не перейду порога, мне грозит страшная и всё приближающаяся опасность.

Выходя на улицу, я уловил слабый, далекий звук раскрывшегося внутри окна...

* * *

– Asseyez-vous, monsieur Roudinsky. Une cigarette?

– Merci, monsieur³³.

Инспектор напротив меня был старше меня всего на несколько лет, судя по внешности. Соломенные, гладко причесанные волосы, удлиненное лицо, спокойное, с интеллигентным выражением.

– Мы вызвали вас, – заговорил он ровно, – не с целью вас арестовать. Наше правосудие преследует за убийство человека, но есть существа, которые по своей сущности не принадлежат к людскому роду и не могут находиться под защитой государственных законов, тем более, что они являются самыми лютыми врагами граждан, интересы коих наше правительство призвано опекать. Полицейские архивы сохраняют процессы времен инквизиции; и хотя широкая публика не знает и ни при каких условиях не может узнать об этом, опыт, в них заключенный, слишком драгоценен, чтобы мы могли им пренебречь. Действуя самостоятельно, вы брали на себя тяжелую ответственность, но исключительность обстоятельств вас извиняет. Я желал вас видеть только для того, чтобы, во-первых, вы не думали, что от французской полиции можно что-либо скрыть, и, во-вторых, для того, чтобы, если вам еще придется столкнуться с подобными явлениями, вы бы знали, что парижская префектура располагает специальным отделом и кадром испытанных служащих, которые могут, в случае необходимости, компетентным образом справиться с любым положением.

Он встал.

– Мадам Андриади умерла в результате собственной неосторожности, – его тон сделался официальным, – и мы никого не собираемся преследовать за этот прискорбный инцидент. Впрочем, – взгляд инспектора скользнул по десяткам дел, аккуратно расставленным по полкам его бюро, – это увы, не первый и не единственный случай в нашей практике. Я надеюсь, сударь, что вы сами взвешиваете необходимость хранить самое полное молчание о печальном событии, свидетелем которого вам выпало на долю стать.

³³ – Садитесь, мсье Рудинский. Хотите папиросу? – Спасибо, сударь (*фр.*).

Лицо чиновника осветилось улыбкой и стало более простым, человеческим и симпатичным. Он протянул мне руку, и я крепко ее пожал.

Такова была моя первая, но не последняя встреча с инспектором Ле Генном. Позже нам случилось познакомиться ближе.

Дача в лесу

They do it with mirrors.
John Collier³⁴

– Еще раз, мой дорогой инспектор, я сердечно благодарю вас за то, что вы так мило и деликатно помогли мне выпутаться из всех неприятностей.

Ле Генн слегка пожал плечами.

– Совершенно не за что, доктор. Я и не мог поступить иначе: ваше дело было совершенно ясным. Быть иллюзионистом, не значит быть шарлатаном, и я не считаю ваше ремесло менее почтенным, чем любое другое. Что до обвинений в черной магии, они оказались просто ни на чем не основанными. Признаться ли вам? – по губам сыщика скользнула бледная, слегка меланхолическая улыбка, – я был даже несколько разочарован.

Доктор Чандра Дас был, казалось, немного задет этими последними словами.

Собеседники, только что окончившие ужин, сидели за столиком в хорошем ресторане. Поколебавшись минуту, постукивая пальцами по углу стола, доктор, очень высокий и очень худой мужчина со смуглым лицом и длинными черными усами, сказал:

– Да, потому что вы видели меня только на сцене, где многое невозможно. Если бы вы захотели посетить меня в моем доме за городом, я бы вам показал вещи, которые вы никогда не назовете банальными... Да, может быть, поедем туда сейчас? В моем автомобиле путешествие не займет больше часу. Вы не торопитесь?

– Что же, я к вашим услугам, если только вы разрешите мне позвонить жене, что я задержусь. Она не удивится: бедняжка привыкла, что это со мной часто бывает.

Инспектор казался заинтересованным. Большой комфортабельный автомобиль плавно и быстро мчался через предместья Парижа, через простор лугов и рощ, через пригородные деревушки, и наконец остановился на широкой прогалине, окруженной лесом, в середине которой стоял просторный деревянный дом в стиле колониальных бунгало. Изумрудная трава поляны была усеяна цветами, нежный и пьянящий аромат которых особенно ясно чувствовался в этот вечерний час, когда заходящее солнце едва успело перестать нагревать землю, и от нее подымается словно бы вздох облегчения.

Ле Генн с наслаждением втянул в ноздри этот запах полей, вызвавший у него мимолетное и сладостное воспоминание о родной Бретани. Хозяин уже отпирал ключом наружную дверь, и, любезно взяв инспектора под руку, вводил его внутрь.

Бросив взгляд вокруг себя, Шарль Ле Генн увидел, что находится в круглой большой зале, однообразие гладких стен которой, облицованных блестящим серым камнем, он не мог сразу разобрать, гранитом или мрамором, прерывалось четырьмя запертыми дверьми; зато нигде не было видно ни одного окна. Но куда же делся доктор? Комната была пуста.

– Это не ахти какой хитрый фокус, – подумал про себя Ле Генн, и от скуки продолжал рассматривать помещение. Теперь его удивило то, что в свете вделанных в стены светильников, вроде больших лампад, он различил над собой круглый свод, представлявшийся глазу бесконечно далеким. Ему ясно вспомнилась плоская удлиненная форма дома, как он его видел снаружи, с его крышей с гребнем.

Поскольку хозяин не возвращался, прождав несколько минут, бретонец решил попробовать наудачу одну из дверей. Она не была заперта и легко поддавалась под его рукой.

³⁴ «Они это устраивают при помощи зеркал». Джон Кольер (англ.). Джон Кольер (John Collier; 1901–1980) – британский писатель, поэт, сценарист.

Жаркое, ослепительное солнце полудня, ударившее в лицо молодому сыщику, заставило его на мгновение отступить назад, но, взяв себя в руки, он снова шагнул через порог.

Он стоял теперь на небольшом балкончике, и под ним, видная с бесконечной высоты, шла прямая, как стрела, и вся в движении, как полноводная река, широкая улица большого города. По ней непрерывным потоком стремились автомобили, и хриплый вой их гудков бессвязным гулом доходил до его ног. Люди ползали взад и вперед, подобные черным насекомым. Напрягая глаза, инспектор смог рассмотреть вдали рекламы, мерцающие синим и красным цветом, но всё, что он мог на них разобрать, как слова «Люкс» или «Регина», ничего не сказали ему о том, где он находится. Во всяком случае, это не был Париж; взгляд Ле Генна нигде не встретил ни безобразной махины Эйфелевой башни, ни элегантного контура Сакре-Кер. Да и где в Париже есть такое застывшее море небоскребов, какое представилось сейчас его зрению?

С балкона, окруженного железной решеткой, накаленной летним зноем, был только один выход, через дверь, которой он пришел, и Ле Генн, мучимый любопытством, решил вернуться обратно, чтобы искать объяснений. Едва он вступил снова в полутемный зал, как дверь сама собой мягко затворилась.

Ле Генн дернул за ручку соседней, отделенной десятком шагов. Странное зрелище открылось перед ним. Всего в нескольких метрах начинались отвесные кручи, уходящие ввысь; каменные стены обрыва запирали горизонт и справа, и слева, со всех сторон. У себя за спиной он увидел такую же голую скалу, с пробитой в ней дверцей, похожей на вход в пещеру. Ле Генн почувствовал себя на дне глубокого ущелья, в каком-то диком, бесплодном краю. С тихим шумом крыл огромные птицы парили на полутемном еще небе... Откуда-то из-за гор медленно вставало солнце; только его первые лучи озарили вершины, придавая им буро-красный цвет, в котором бретонцу почудилось что-то угрожающее и грубое. Мрачный, наводящий жуть пейзаж страны без людей, отголосок древнего, исчезнувшего мира, мира ящеров и ихтиозавров... Какие-то черепа лежали в дюжине шагов от двери, но Ле Генну было почему-то страшно к ним прикоснуться. На что похож этот ландшафт? Анды, Кордильеры? Глухой угол Перу или Юкатана? Всё более томительное чувство овладевало душой инспектора, и сам не зная, как, он отступил вновь в глубину залы и захлопнул дверь.

Всё те же полутьма и молчание, в которых его шаги гулко звучали по мраморному полу. Любопытство не угасло в сердце Ле Генна, и он, переведя дух, подошел к третьей двери.

Безграничная водная гладь открылась его взору. Темная, чуть колышущаяся поверхность отражала в себе мириады звезд, и лунный свет бежал по ней бледной дорожкой. В отдалении, где-то на конце мира, горело несколько неподвижных желтых огоньков, окна чьего-то спокойного жилища. Было тепло, и веявшая от озера прохлада отрадной свежестью ласкала щеки. Ле Генн нагнулся и погрузил руки в темную влагу. Чуть заметные волны тихо плескались у самых его ног, всего на несколько сантиметров ниже порога. Невыразимый покой веял от этой безмолвной картины. Ле Генн попробовал оставить дверь открытой, но не успел он отойти, как она захлопнулась, словно под движением невидимой мощной руки...

Последняя дверь... Едва она растворилась, как жгучий холод пронизал всё тело Ле Генна. Ослепительно белая снежная равнина искрилась под лучами зимнего солнца и мучительно резала глаза... на краю горизонта черной каймой тянулись леса, и из них до слуха сыщика вдруг донесся протяжный заунывный вой, заставивший его вздрогнуть. Дул стремительно усиливающийся ветер, который, не прошло и двух минут, стал поднимать облака снежной пыли. Несколько хлопьев ударили в лицо Генну и упали на мраморный пол. В своем легком пиджаке, он начал дрожать всем телом и, после недолгого колебания, тщательно закрыл дверь, надавив на нее тяжестью корпуса.

– Простите, что я вас оставил одного, мой дорогой инспектор!

В колеблющемся свете лампад, в середине комнаты выросла длинная фигура Чандры Даса. На миг Ле Генну показалось, что всё, что он сейчас пережил, было сном. Но на полу,

у двери, еще не растаяло окончательно несколько снежинок на поверхности медленно растекшейся лужи...

– Я был занят приготовлением к оккультным опытам, которые собираюсь вам показать. Простите, если заставил вас ждать. Идемте, всё готово...

Бледный инспектор подавил внутреннюю дрожь.

– Благодарю вас, доктор, но я с наибольшим удовольствием вернулся бы сейчас в Париж. Если возможно отложить ваши эксперименты до другого раза...

Белые зубы мага блеснули в торжествующей улыбке.

– Само собой, друг мой, как вам угодно: я всегда буду рад вас видеть в любое время, а сейчас сочту за честь доставить вас домой на моей машине. А может быть, мы заглянем по дороге в какое-нибудь казино или мюзик-холл? Еще не так поздно, и мне бы не хотелось с вами слишком скоро расстаться...

Какой милой показалась взгляду Ле Генна мягкая французская природа, цветущие кусты, засеянные поля, тропинки, весело разбегающиеся под древесной сенью; словно он вернулся из долгого и опасного путешествия по далеким странам... по далеким странам? больше того: из иного мира...

Мелкая нечисть

Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы.
Н. В. Гоголь, «Вий»

На лето Париж замирает и пустеет; тоска и скука излучаются от раскаленных мостовых на улицах, не оживленных ни пешеходами, ни автомобилями. Остаться в нем в течение июля и августа тяжело, и потому я с радостью принял приглашение Ивана Ивановича Сорокина провести на его даче несколько дней, суливших мне краткое избавление от вида всё тех же самых пейзажей большого города, каменных зданий, асфальта, витрин...

С Иваном Ивановичем я был связан совместной работой по устройству литературных лекций и общими взглядами на ряд политических и научных вопросов. Много лет назад он – не знаю, как это случилось – приобрел участок земли под Парижем, и теперь ему пришла мысль организовать там лагерь для тех, кому дела или средства не позволяли уехать на лето подальше. Расположенный в лесу, на холме, участок был живописен и давал иллюзию почти первобытной глуши, хотя от столицы его отделял какой-нибудь час пути.

Не думаю, чтобы Сорокины получили большую прибыль от лагеря. Те три или четыре дня, что я там пробыл, в нем находились, не считая самого Ивана Ивановича, его супруги и их племянницы, лишь несколько человек, преимущественно женщин. Одну из этих дам мне назвали при знакомстве Валентиной Семеновной Орловой. На вид ей нельзя было дать больше сорока лет, ее несколько ниже среднего фигурка была еще стройна, и можно было подумать, что в молодости она была красива. Еще и сейчас она была бы, пожалуй, привлекательна, если бы ее лицо не напоминало остренькую крысиную мордочку каким-то трудно уловимым выражением хищности и хитрости, а может быть, и жестокости.

Не вызвали у меня симпатии и ее по-актерски аффектированные манеры, – она сразу сказала мне, что она артистка, – и обороты речи, типичные для полуинтеллигента, стремящегося показать свою принадлежность к высшему обществу.

Зато разговор с ней перешел на далеко не банальный сюжет. Не помню, как, речь зашла о ее недавнем путешествии в Бразилию – в подлинности ее пребывания там меня тотчас же убедили случайно проскользнувшие в ее рассказе два-три португальских слова – и об ее столкновении с макумбой. Читатель, вероятно, знает, что такое макумба? Это негритянская секта в Южной Америке, близкая по своим обычаям к сектам вуду в северной и центральной. Во всех них, привезенные из Африки негритянские суеверия, сохранившись веками в глубокой тайне, переплелись с традициями индейцев, исчезнувших с лица земли антильских племен и с европейскими идеями молитвы и ворожбы. Свирепый и кровавый характер их ритуала не раз описывался в статьях и даже романах (возьмите «Поклонники змеи» Густава Эмара³⁵), но белым, кажется, никогда до конца не удавалось проникнуть в суть их мировоззрения, не удалось даже определить, имеем ли мы дело с культом дьявола или стихийных сил.

Для Валентины Семеновны деятельность колдунов макумберра и их паствы была вещью повседневной, кусочком быта. Она спокойно рассказывала, как в первые же дни по приезде ее выгнал из удачно найденной, дешевой и удобной квартиры мулат, которому самому хотелось ее занять, при помощи магических, приемов, вызвавших у нее до смерти ее перепугавшие слуховые и зрительные галлюцинации. О том, как специальные священники при церквах разбирают род наведенной на того или иного из прихожан порчи и дают советы, как от нее освободиться. О том, как ее подругу-артистку едва не довели до гибели, подсунув ей наговоренное платье.

³⁵ Густав Эмар (Gustave Aimard; наст. имя Оливье Глу; 1818–1883) – французский писатель. Автор приключенческих романов, один из классиков жанра вестерн.

– Надев его, она вдруг почувствовала, будто ей грудь и спину пронзают иголки. Сняла и посмотрела: нет ничего. Через день ей стало плохо, пошла горлом кровь. Врач сказал, что у нее чахотка в последней стадии. По счастью, она нашла патера, умевшего бороться с чарами макумбы: он научил ее, что надо делать, и всё прошло. Доктор с изумлением говорил потом, что при новом снимке, каверны в ее легких сами собой исчезли, что с медицинской точки зрения было поразительно... А приворот там производится на каждом шагу. Я много раз наблюдала случаи. Самое страшное, это если девушку сразу пытаются приколдовать двое мужчин: она неизбежно сходит с ума...

Увлечшись, Валентина Семеновна начала было рассказывать мне о своем вступлении в макумбу и участии в полуночном радении, даже о нарочно сшитом для этого платье... но внезапно остановилась и резко перевела разговор на другую тему, обмолвившись, впрочем, что связь с друзьями в Бразилии поддерживает и посейчас.

За те дня три, что я остался в лагере, я мог оценить, что Валентина Семеновна не пользовалась у прочих обитателей большой симпатией. Резкий характер и высокое о себе мнение никак не способствовали ее популярности, и, проведя с ней несколько недель вместе, почти все с ней были холодны и ее избегали. Было, впрочем, одно исключение, которое в моих глазах многое говорило в пользу мадам Орловой и заставляло извинить ее весьма заметные недостатки.

Племянница Ивана Ивановича, Саша, была довольно жалкое существо. Какой-то злоеций наследственный или приобретенный в первые годы жизни дефект задержал ее развитие так, что, не будучи вполне слабоумной, она оставалась в свои двадцать с большим лишком лет на уровне, обычном для детей в одиннадцать или двенадцать. Мучительно заикающаяся, дурная собой и неуклюжая девушка явно страдала болезненной застенчивостью и избегала разговора с чужими; даже с дядей и теткой, несмотря на их заботливое отношение, она всё время дичилась и жалась.

Валентина Семеновна сумела, однако, преодолеть робость Саши и с первых дней по своем приезде, как мне рассказывали, с ней подружилась. Может быть, потому, что ей было приятно, чтобы ей восхищались, а у прочих людей в здешнем маленьком мирке она подобных чувств отнюдь не находила. И в этом смысле она не прогадала. Саша, не привыкшая к ласке и дружбе, привязалась к ней, как собака, и окружала ее страстным поклонением; вместе они ходили гулять, рядом сидели за обедом и в отсутствии Валентины Семеновны Саша не переносила ни одного о ней плохого слова; после сделавшейся у нее истерики, когда какой-то новичок бросил об ее подруге неосторожную шутку, никто при ней больше не решался затрагивать предмет ее обожания. Немудрено, что в день отъезда Валентины Семеновны в Париж, случайно совпавший с моим, бедная девушка с утра утирала глаза и громко шмыгала носом, и лишь многократные обещания ее приятельницы, что осенью и зимой они будут там часто видаться, положили некоторый предел ее огорчению.

Путешествие в поезде не было особенно скучным, так как рассказы Орловой были не лишены интереса, несмотря на их претенциозность, а самая эта претенциозность меня порой забавляла. Зато, прибыв в город, эта милая дама так ловко попросила меня донести ей чемодан – «тут рядом, в двух шагах», – что я не сумел отказаться и потом в душе проклинал ее всеми известными мне словами, втаскивая тяжеловесный сундук на шестой этаж по крутой и узенькой лестнице.

– Ну вот я и дома, – с радостью сказала Валентина Семеновна, когда я уперся в конец коридора под самой крышей, – зайдите на минутку отдохнуть.

Отдохнуть было не лишним. Отирая пот со лба, я вошел в маленькую комнатку, из тех, какие отводились прежде для прислуги в чердачных помещениях. Некоторым преимуществом этого, жилья, кроме его относительной дешевизны, было, как выяснилось из болтовни хозяйки,

готовившей тем временем чай, что остальные комнаты по всему этому этажу пустовали или служили как чуланы и кладовые, так что никакие соседи не причиняли беспокойства.

Сидя на продавленном диванчике, занимавшем полкомнаты, сильно вытянутой в длину, я не без любопытства оглядывал полки с книгами (не подумал бы, что Валентина Семеновна охотница до чтения) и какие-то реторты и химические приборы. Один угол был скрыт за пестрой занавеской, в другом громоздилось несколько ящиков.

Меня отвлекли от наблюдений вопросы хозяйки. Она объясняла мне, что написала роман в автобиографической форме, который хотела бы непременно издать, и допытывалась, не согласился бы я перевести его на французский язык. Подумав, я принял ее предложение. Время у меня было, переводами я занимался часто, и, хотя мадам Орлова предлагала более чем скромную цену, даже такие деньги мне могли оказаться кстати. Сговорившись с нею и выпив чаю, я ушел, положив в карман объемистый манускрипт, который я проглядел, вернувшись домой.

Сочинение было довольно сумбурное и, главное, написанное ужасным русским языком, где, прежде чем переводить, каждую фразу необходимым оказывалось исправить и перестроить. Что до содержания, в нем трудно было провести грань между правдой, которая явно имела, – и фантастикой, которой тоже вполне хватало. Если верить всему, рассказываемому здесь, биография автора была достаточно бурной и романтической.

Родившись где-то на юге России, в результате драмы между родителями, с покушением матери на убийство отца, героиня этой истории в раннем детстве попала на воспитание в монастырь, где аскетизм и лицемерие обительниц в равной мере ее оттолкнули не только от них, но от религии вообще, к которой у нее навсегда остались страх и враждебность. Позже она стала артисткой и, еще совсем молодой, ухитрилась попасть в фаворитки к эмиру Бухарскому, из азиатского дворца которого позже сбежала, увозя подаренные им драгоценности на огромную сумму. Всё свое богатство она, впрочем, потеряла в вихре революции, успев, однако, еще до того выйти замуж за одного легкомысленного офицера из княжеского рода. В Гражданскую войну она безумно влюбилась в одного молодого чекиста и, после брака с ним, встречалась с видными советскими сановниками вплоть до Ленина; вместе они изъездили всю Россию, но, в конце концов, наскучив большевистским бытом, Валентина Семеновна, при помощи фиктивного брака с иностранцем, выбралась за границу.

Это было, однако, еще не всё. На протяжении книги повсюду разбросаны были намеки на оккультные занятия автора, то наивно откровенные, то чаще приглушенные. Выходило, что князь женился на ней под влиянием гипноза; ее интрига с иностранцем удалась в силу их общего увлечения спиритизмом; способность внушения много раз выручала ее из-под следствия при Советах и помогала ей совершать самые странные вещи, вроде исцеления больного параличом или усыпления явившегося к ней для обыска комиссара.

О подробностях я имел случай не раз разговаривать с сочинительницей. Рукопись ее я получал по частям; по частям же она мне и платила, торгуясь при этом, как конский барышник; по поводу необходимых изменений она с живостью спорила и давала советы; об отдельных местах приходилось спрашивать у нее разъяснения. Часто заходила речь об оккультных науках. От этих разговоров у меня создалось странное впечатление.

Валентина Семеновна напоминала мне «ученика мага» из известной легенды. Она была человек малообразованный и не очень умный, хотя и не без природной хитрости. Знания ее были хаотичны и лишены как системы, так и глубины. Но в то же время какие-то обрывки спиритических приемов, астрологии, хиромантии были ей известны. Какое отношение они имели к ее профессии иллюзионистки, затрудняюсь сказать. Во всяком случае, даже фрагменты оккультизма в руках женщины безо всяких моральных устоев и с большой жадностью к жизни, какой была Валентина Семеновна, казались мне довольно опасной игрушкой, особенно принимая во внимание ее слепое доверие к своей силе.

Может быть, мне не следовало придавать всему этому никакого значения, но были некоторые моменты, поколебавшие мой первоначальный скептицизм. Однажды Орлова сняла с полки и показала мне большую книгу в черном переплете; это было старинное французское издание, где на основе астрологии предсказывалось будущее. Для каждого случая давались две координаты: точная дата рождения и созвездие, к которому оно относилось. И я должен признать, что предсказание судьбы и, особенно, определение характера, как я ни проверял на десятках знакомых, всегда оказывались в общих чертах правильными.

Валентина Семеновна хвалилась, что знает секрет эликсира молодости, даже посвящала меня в свои трудности доставать все необходимые ингредиенты – например, дикий виноград, который она только после долгих поисков обнаружила где-то под Парижем; я посмеивался, пока мне не пришлось как-то помочь заполнять анкету для визы в Америку, и я ахнул при виде стоящего у нее в паспорте возраста, выражавшегося, как говорит Зощенко, «почти трехзначным числом».

Рассказывая, в промежутках между проверкой рукописи, одно свое приключение, – как она опоила понравившегося ей молодого человека любовным зельем, а потом внезапно почувствовала к нему полное отвращение; как он ее преследовал везде и в конце концов, выведенный из себя ее холодностью, дал ей удар ножа; – Валентина Семеновна, видимо, прочла недоверие на моем лице и, приоткрыв платье, показала мне невдалеке от сердца глубокий шрам со всеми признаками зажившей раны, – вероятно, ужасающей, – нанесенной холодным оружием.

Всё это, ясное дело, само по себе ничего не доказывало. Но, взятое вместе, оно порождало во мне непреодолимое сомнение: может быть, тут что-то и есть?

Какое-то темное снадобье с дурманящим, но не неприятным запахом всё время варилось у нее на газовой плите или отстаивалось во флаконах; какие-то травы сушились под потолком; несколько раз я перехватывал взглядом каббалистические чертежи и раскрытые книги, трактующие о мрачных вопросах демонологии. Стекланные шары, череп, гадальные карты – всё это имелось у Валентины Семеновны, и я подозревал, что гадание было одним из ее главных источников существования.

Между тем, ее материальные дела шли скверно. Я не мог подать ей большой надежды на издание ее книги; мне оно представлялось более чем проблематичным. Со сценой у нее тоже ничего не выходило. Скопленные деньги кончались, и она всё чаще в беседе с горечью говорила о том, как тяжело в ее годы, после роскоши, какую ей случалось видеть, остаться почти в нищете безо всяких надежд в будущем.

Раз я в шутку спросил ее, почему бы ей не делать золото, если она посвящена в секреты алхимии. Но она ответила вполне серьезно, что это возможно, но очень трудно и требует предварительных расходов, какие она не в состоянии произвести сейчас.

– Есть другой путь, – сказала она задумчиво; хотя она отвернулась, я заметил на ее лице колебание и словно испуг, – есть. Я не хотела, но... Послушайте, – переменяла она тон, начав говорить решительно, словно бросаясь в пропасть, – у вас много знакомых среди молодежи. Найдите мне какую-нибудь девушку... или даже молодого человека, но лучше девушку... в возрасте так до двадцати лет... хорошо бы достаточно нервную и впечатлительную, не слишком крепкого здоровья... и непременно невинную. Ей ничего не будет, но мне необходим медиум; тогда я найду способ получить деньги... узнаю, где они лежат, и как их взять; даже сделаю так, что мне владельцы сами отдадут. Но нужен подходящий организм: пожилые люди не поддаются внушению; ясно видят только те, кто сохранил чистоту, а дети, если и видят, не умеют рассказать... Помогите мне, отыщите мне медиума, – никто не будет знать! – а я с вами поделюсь богатством...

От возмущения я на минуту даже язык потерял.

– Да за кого вы меня принимаете? – взорвался я потом, придя в себя, – как вы осмелитесь мне предлагать подобные вещи? Чтобы я участвовал в таких темных делах... С ума вы, что ли, сошли?

Валентина Семеновна рассмеялась ненатуральным смехом.

– Я же пошутила! Какой вы еще ребенок! Неужели вы могли подумать это серьезно? Вы меня в самом деле считаете за волшебницу! Теперь я вас поймала. Но вернемся к нашему переводу. Как вы передали последнюю фразу в пятой главе? Она очень важна для всего рассказа.

У меня не было никакой уверенности, что она вправду шутила. В особенности после того, как, прощаясь со мной, она еще раз вернулась к теме и пробормотала:

– Жаль, что вы не хотите прийти мне на помощь. Ну, я знаю, что мне надо сделать... Не хотела, но ничего не остается...

И на ее лице застыла зловещая решимость, запомнившаяся мне навсегда.

* * *

Как-то вечером, выходя от Валентины Семеновны, я встретил около ее дома женщину, и мне почудилось, что я узнал жидкие волосы и отсутствующий взгляд Саши; однако, в темноте, не был уверен, что ошибся, а когда спросил у Валентины Семеновны, видятся ли они между собою, она очень живо заявила, что не встречала «бедную девочку» с самого своего отъезда из лагеря.

* * *

Об этой случайной встрече я упоминаю недаром. Последующие обстоятельства заставили меня вспомнить и многократно думать о ней. Постараюсь, сколько могу, связно эти обстоятельства здесь изложить.

Перевод шел к концу; он мне порядком надоел и, желая поскорее освободиться, я стал работать быстрее и, к немалому своему удовольствию, написал заключительную фразу на несколько дней раньше намеченного в последнем разговоре с Орловой срока. Зная, что она обычно по вечерам дома, я решил съездить сейчас же к ней, отдать рукопись и забрать причитающиеся мне деньги, которые как раз были мне нужны; и через полчаса, часов в шесть вечера, я уже поднимался по лестнице ее дома.

На дворе стояла зима. В узеньком коридорчике было совсем темно; слабый свет лампочки с трудом позволял видеть общие контуры предметов; царила тишина, какая бывает в нежилых зданиях, и я невольно ступал осторожно, стараясь не шуметь. По мере того, как я приближался к двери Валентины Семеновны, до моих ушей стал доходить какой-то необычный звук; я инстинктивно еще замедлил шаг и прислушался. Из-за двери несясь странный речитатив, стремительный и в то же время заунывный; и я узнал голос Орловой, но тон меня поразили. В нем была монотонная страстность; словно говорящему хотелось бы как можно скорее произнести нужную формулу, словно в то же время он старался говорить четко и боялся ошибиться хоть в слове.

– Что она твердит такое? – подумал я невольно. – Стихи читает? Учит роль?

Подойдя ближе, я был еще больше удивлен, различив, что она говорит по-португальски. Голос то делался громче, то затихал до шепота, так что я не мог всё разобрать; кроме того, мне показалось, что в португальскую речь вплетаются имена и целые фразы на каком-то совсем ином языке. Но кое-что я всё же понял.

– Serpente velha... cabra negra... mae de mil cabritos... (гроздь странных имен) te invoco pelo sangue duma pomba, pelo animo dumà virgem te invoco...³⁶

За дверью на мгновение послышалось хлопанье крыльев и крик какой-то птицы; заклинание перешло в непонятное бормотанье.

Я почувствовал, что войти сейчас невозможно; что лучше не стучать в эту дверь. Что бы там за нею ни делалось, мое присутствие будет не у места. Мне пришла в голову мысль зайти позже и, совсем уже на цыпочках, я двинулся обратно к лестнице. Последнее, что я уловил после минуты гробового молчания, был другой голос, который начал говорить, будто отвечая заклинательнице; слов я не мог разобрать, заикающийся, мучительно прерывающийся голос был мне вроде бы знаком, но в нем было теперь нечто жуткое, нечто леденящее кровь, так что я его не признал и бессознательно ускорил поступь, стремясь уйти от его звука...

* * *

Часа через два я вернулся. Не было причины ехать домой, не отдав рукописи, да и чувство жути у меня вытеснилось любопытством. Выпив чашку кофе в ресторане, прочитав журнал, погулявши по улице, я снова оказался в том же чердачном коридорчике. На этот раз всё было тихо. Я постучал.

– Кто там? – нервно отозвался голос Валентины Семеновны.

Я назвал себя и объяснил, что мне надо.

– Сейчас...

Но прошло несколько минут, прежде чем дверь приотворилась. Лицо Валентины Семеновны, покрытое темными тенями, казалось мертвенным.

– Я не могу вас сейчас принять, – объяснила она через порог, – зайдите в другой раз... Я не совсем здорова... Вы принесли рукопись? Хорошо, давайте... Вот деньги...

Через узкую щелочку мои глаза с жадностью обшаривали комнату, где горела под абажуром настольная лампа, бросая вокруг себя слабые лучи красноватого цвета. Это было неудобно и абсурдно, но я не мог удержаться... И, с точностью фотографического аппарата, мой взгляд зарегистрировал целый ряд вещей, которые не дошли в тот момент полностью до моего сознания. Наполовину скрытый под диваном таз, полный темной красной жидкости и выделяющейся на ее фоне белые перья, видимо, голубя... и неподвижная фигура на диване, как будто женщины, вытянувшейся во весь рост, неестественно оцепенелой в неудобной позе...

– Благодарю вас... Я надеюсь, мы еще увидимся...

И дверь закрылась перед моим носом.

* * *

Должно быть, недели через две мне случилось зайти по одному делу к Ивану Ивановичу. В беседе он упомянул о «постигшем его горе», и я заметил траурную ленту на его пиджаке.

– Что случилось? – спросил я с беспокойством и сочувствием.

– Разве вы не знаете? Наша бедная Саша скончалась в прошлое воскресенье... Всё было так ужасно! Она пропала из дома и не приходила два дня, а потом ее нашли на улице, совершенно потерявшей рассудок и в страшном истощении. Всё, что делали ее родители, было напрасно; никакой доктор не сумел помочь, и она через пять дней умерла, причем всё время бредила о каких-то ужасах. Бог весть, откуда ей такое могло прийти в голову? О змеях, о черных козлах, о зарезанных голубях... Так тяжело моему бедному брату; хотя, конечно, с ее

³⁶ Старая змея... черная коза... мать тысячи козлят... призываю тебя кровью голубки, призываю тебя душой невинной девушки... (порт.).

болезнью ей жизнь тоже была нелегка. А я ждал вас видеть на похоронах, – в голосе Ивана Ивановича прозвучал легкий упрек, – другие бывшие наши лагерники пришли. Особенно тронула нас всех мадам Орлова: принесла огромный букет и казалась так сильно потрясенной...

* * *

Видеть снова Валентину Семеновну у меня не было теперь нужды; признаться, не было и охоты. Но русский Париж мал; в нем все со всеми встречаются. Я столкнулся с ней недавно на Елисейских Полях, у входа в большой магазин, когда она садилась в автомобиль. Я плохой ценитель женских туалетов, но мне всё же кинулось в глаза, что такие меха, такое кольцо, какие были на ней, мало кому доступны.

– Здравствуйте! – сказал я светским тоном. – Как вы ослепительны сегодня. Ваши дела изменились к лучшему?

Под маской краски лицо женщины покраснело так, что ее карминовые губы слились с фоном щек и подбородка.

– Да, мне удалось получить очень удачный ангажемент. Теперь я могу жить совсем иначе, чем прежде.

– Я был так огорчен узнать о смерти Саши, – бросил я небрежно и достиг эффекта, которого ждал: она побелела так, что ее рот теперь можно было принять за пятно крови на снегу.

– Ужасно, ужасно... Но простите меня, я должна торопиться, – Валентина Семеновна посмотрела на изящные часики, – я, кажется, скоро покидаю Францию, но, может быть, еще вернусь, и нам придется встретиться.

Я поклонился и проводил взглядом ее элегантный «кадиллак», умчавшийся по направлению к площади Конкорд.

При исполнении обязанностей

*He vek digor ha leun a wad
Hag he reun louet gand ann oad.*

*Barzaz Breiz*³⁷

– Господин Орест Полихрониадес?

– Да, я к вашим услугам. С кем имею честь говорить?

Двое мужчин смерили друг друга глазами, стоя в вестибюле, сверкающем мрамором, у подножия широкой, величественной лестницы, устланной ласкающим взгляд своими яркими цветами восточным ковром. Хозяин был высокий полный брюнет с оливковой кожей и классическими чертами лица, вероятно бывшего в молодости очень красивым, но обрюзгшего теперь, когда ему перевалило за пятьдесят. Посетителю было лет тридцать, и он, кроме роста, ничем не походил на Полихрониадеса, худощавый, с бледным лицом скандинавского типа и светлыми золотистыми волосами.

Вежливо поклонившись, гость протянул хозяину визитную карточку, на которой тот прочел: «Инспектор Шарль Ле Генн, особый отдел, служба национальной безопасности».

Усилием воли Полихрониадес подавил недовольство и, любезным жестом предложив полицейскому следовать за собой, провел его вверх в роскошно убранную большую комнату, где оба усьелись в удобные кресла.

– Мне очень жаль вам сообщить, сударь, что, согласно постановлению министерства внутренних дел, вам предлагается в трехдневный срок покинуть пределы Франции.

Это было уже слишком для самообладания его собеседника.

– Как? Что за чушь? По какому праву? – выпалил он, задыхаясь.

– Это очень неприятно, мсье. Но я не советую вам настаивать на объяснениях, которые могут оказаться тягостными для нас обоих. Заверяю вас, что министерство имело свои основания. Занятия оккультизмом сами по себе не запрещены законом... но три случая самоубийства в вашем интимном кружке, равно как и внезапное душевное заболевание мадемуазель Терновской, заставили наше бюро предпринять следствие; мне не хочется углубляться в детали, вроде происшествия с детьми мсье Депрео...

– Все это ни в какой мере не может служить основанием, – прорычал сдавленным голосом Полихрониадес, утирая лоб.

Лицо инспектора стало более суровым.

– Мсье, в вашем кружке широко применялись различные наркотические и возбуждающие средства. Часть из них имеют слишком экзотический и недостаточно изученный характер, но некоторые недвусмысленно упомянуты в своде законов. Этого вполне достаточно для предания вас суду, если вы не хотите оценить нашу деликатность и добровольно принять наше предложение оставить Францию.

Грек словно что-то проглотил и с большим усилием придал своей физиономии сладкое выражение.

– Мой дорогой инспектор, вы, я вижу, человек светский, с тактом и опытом. Не может быть, чтобы мы не отыскиали выхода из положения, если это дело находится в ваших руках. Это может потребовать расходов, вполне естественно, но я готов...

Ле Генн сделал рукой короткий жест.

³⁷ «Его пасть раскрыта и полна крови, / А шерсть побелела от старости». Бретонские песни.

– Бесплезно продолжать разговор. Я вас известил о решении властей, и если вы ему не подчинитесь, к вам будут применены меры принуждения.

Полихрониадес, позеленев, сорвался с места, вне себя от гнева.

– Вы себе позволяете со мной говорить в таком тоне? Это вам дорого обойдется. Я вас научу оскорблять людей, за которыми стоят силы, вашему петушину умишке непонятные...

Инспектор Ле Генн медленно поднялся на ноги.

– Обращаю ваше внимание на тот факт, что угрозы государственному чиновнику при исполнении служебных обязанностей предусмотрены уголовным кодексом, а насилие против него составляет серьезное преступление.

– Насилие? – захихикал грек. – Вы сейчас увидите кое-что из области насилия!

Он метнулся к двери; в комнате вдруг погас свет; раздался звук повернутого в замке ключа.

Во мраке, в середине незнакомой комнаты, перед лицом неясных угроз молодой сыщик не чувствовал себя особенно уютно, тем более, что в папке Полихрониадеса в полиции хранились некоторые сообщения, от каких и у неробкого человека волосы могли встать дыбом. Главное же, за несколько лет своей блестящей службы в «Сюртэ Насиональ» Ле Генн выработал в себе безошибочную способность предчувствия, и сейчас что-то определенно говорило ему, что на него надвигается большая опасность.

Предупреждением послужил новый звук ключа в замке, за которым, впрочем, ничего не последовало. Инспектор инстинктивно отступил вглубь комнаты, подальше от двери.

Она неожиданно растворилась, и на пороге появилось совершенно фантастическое создание. Это был огромный железный волк: Ле Генн видел, что это было живое существо, видел свирепый взгляд маленьких красных глаз, но в то же время ясно слышал металлический звон и различал черные стружки стальной шерсти, покрывавшей зверя; весь он был раскален до красна и ярко светился, разгоняя тьму в комнате; там, где его лапы касались паркета, от полированного дерева шел дымок, и, когда он вступил на ковер, отчетливо почувствовался запах паленых тряпок.

Ле Генн даже не схватился за револьвер, лежавший у него в кармане. С быстротой соображения, типичной для него и бывшей главным из его плюсов в житейской борьбе, он раскрыл перочинный нож и, упав на одно колено, очертил вокруг себя по паркету замкнутую кривую, стремительно повторяя слова, силу которых он знал.

Круг был совсем мал. Когда чудовище подошло близко, оно остановилось, со страшным звуком лязгая стальными зубами, словно упершись в незримую стену, и медленно пошло по окружности. Смердное дыхание повеяло на Ле Генна, от чего он едва не лишился чувств, и его обдало нестерпимым жаром; он заметил, что с левой стороны его пиджак, в нескольких сантиметрах от которого прошла морда волка, начал тлеть.

Зверь несколько раз вставал на задние лапы и всей тяжестью бросался вперед, но какая-то сила отбрасывала его обратно; слышно было, как металл глухо ударяется об эластичное препятствие. Две или три минуты вернули Ле Генну хладнокровие, и он перешел в наступление, начав повторять все те заклинания, какие показались подходящими к случаю. Когда он стал произносить молитву против *negotium perambulans in tenebris*³⁸, волк отскочил на несколько шагов, и инспектору показалось, что его накал сразу сильно ослаб; железо на его боках местами потемнело.

Ле Генн вспомнил тогда о заклятии Мерлина против дракона; бретонец из кантона Трегер, он твердо помнил эти друидические триады на кельтском языке своего детства. Их корот-

³⁸ «От вещи, во тьме приходящая» (лат.). Слова из 90-го псалма, «Живый в помощи», который часто читается как молитва в опасной ситуации.

кий ритм упал на железное наваждение будто сокрушительные удары молота; видно было, как оно извивалось, словно под неумолимым бичом.

Его свет постепенно мерк, и вдруг оно исчезло, растворилось во мгле. Но Ле Генн продолжал чувствовать вокруг себя присутствие невидимых враждебных сил; внутреннее зрение, внутренний слух передавали в его мозг картины жестоких лиц, на резкие черты которых падали гривы черных волос, тянущиеся к нему когти, звук хлопающих крыльев, темных как ночь... Оставаться без конца в каббалистическом кругу? Немыслимо.

Закусив губы, бретонец шагнул во тьму. Пока комната была освещена, он схватил ее расположение, и его рука сейчас, потянувшись к стене, где, как он прежде заметил, висело оружие, сомкнулась на рукояти старого меча, который он с беглого взгляда оценил, как относившийся к пятнадцатому веку.

От этой рукояти, от христианской эмблемы ее эфеса, волна мужества прилила к сердцу Ле Генна. Повторяя молитву «*Exsuigat Deus et dissipentur inimici Ejus*»³⁹, он крестообразными ударами со страшной мощью рассекал воздух, и свист звучал в его ушах дикими стонами и воплями неземных тварей. Один из размахов раздробил электрическую лампу, другой разрубил лакированный столик, от третьего полетели брызгами куски разбитого оконного стекла... Но инспектор чувствовал, что он приближается к двери, и был прав. Он распахнул ее страшным ударом эфеса, от которого дерево треснуло, и с невероятным облегчением оказался на ярко освещенной площадке лестницы, затем, через минуту, в передней.

Все было пусто, нигде ни души...

Бретонец спохватился, что держит в руке длинный рыцарский меч, и бросил его на мраморные ступени.

Но, прежде, чем он выпустил эфес из пальцев, он сделал открытие, которое его потрясло: весь широкий клинок толедской стали был покрыт кровью, медленно капавшей с острия на пол...

* * *

О том, что с ним произошло в доме Полихрониадеса, инспектор Ле Генн не упомянул в своем служебном рапорте.

Орест Полихрониадес вылетел на следующее утро на аэро плане в Каир, и следствие по его делу было прекращено.

³⁹ «Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его» (*лат.*) – начало «молитвы Честному Кресту».

За городом

*And all men kill the thing they love,
By all let this be heard...*

*Oscar Wilde
The Ballad of Reading Gaol⁴⁰*

За окном вагона проплывали поля и деревни, мелькали группы деревьев, словно уснувших под июльским солнцем. На мгновение потянуло прохладой от медлительной речки, следовавшей в течение нескольких минут полотну железной дороги, будто решив нам составить компанию. Я заметил знакомый белый мостик и закрыл книгу, которую держал на коленях, но уже несколько минут не читал, заглядевшись на эту мягкую, умеренную во всем французскую природу, как будто почти ту же, что и у нас, но неуловимо отличающуюся от нашей своим духом.

Сидевший напротив меня молодой человек в коричневом костюме повернул ко мне тонкое живое лицо. Стройный, среднего роста, гладко выбритый шатен, он показался мне довольно типичным французом, очевидно интеллигентным, может быть, студентом или служащим.

Pardon, monsieur, la prochaine station, c'est bien la Vallée Sainte Marie?

Oui, – отозвался я, – et justement – nous y arrivons⁴¹.

Маленькая, глухая станция была совершенно пуста под палящим полуденным зноем. Я перешел на другую сторону пути, и, оглянувшись на мгновение, заметил, что мой попутчик тоже вышел из поезда и остановился на платформе, словно ища глазами, у кого спросить дорогу.

Мне в этом не было нужды. Я уже несколько раз бывал в Валле-Сент-Мари и знал, куда мне надо идти. Деревня осталась по ту сторону рельс, а на меня повеял свежий воздух леса.

Кремнистая тропинка передо мной шла круто в гору, обступленная по бокам высокими стволами сосен, корни которых то протягивались пешеходу под ноги, то поднимались высоко спереди, почти над головой. Известно, что запах действует на память сильнее, чем звук или вид. Этот аромат согретой летним жаром смолы мне остро напомнил родное Царское Село и его парки, под сенью которых протекали мое детство и юность. Но лишь на минуту, потом их стерли другие воспоминания, более недавние и более жгучие...

Девушка, которую я любил, уехала на каникулы, и передо мною была перспектива не видеть ее три месяца, тогда как за последнее время день или два без нее уже казались мне невыносимыми. В Париже мне всё напоминало о ней; стоило выйти из дому, чтобы ноги выбрали улицу, которая должна была меня привести к кварталу, где она жила, где я с ней встречался, и где всё вызывало в уме ее образ; и тогда на уста невольно теснились всё те слова, что я мог бы ей сказать и не сказал...

Уехать из Парижа я не мог, и вдобавок даже пойти в гости было почти не к кому; все знакомые разъехались кто куда, рассыпались по лагерям, умчались, кто на Ривьеру, а кто и за границу.

Как о пристанище, я вспоминал о гостеприимном крове Ивана Ивановича Сорокина, устроившего недалеко от города, на земле, которую он когда-то купил, нечто вроде дома отдыха, куда можно было приехать на несколько дней, что было весьма удобно для людей, свя-

⁴⁰ «Свою любовь все убивают / Пусть знают все о том». Оскар Уайльд, «Баллада Реддингской тюрьмы» (англ.).

⁴¹ – Простите, сударь, ближайшая станция, это будет Валле-Сент-Мари? – Да, и мы как раз подъезжаем (фр.).

занных службой или делами. Немалую роль в моем желании посетить дачу, стоявшую в лесу километрах в трех от деревни Валле-Сент-Мари, играла мысль увидеться с Леночкой, дочкой Ивана Ивановича, прехорошенькой, неглупой и дьявольски кокетливой молоденькой брюнеткой. Спешу заверить читателя, что у меня были с ней чисто дружеские отношения, сохранившиеся с тех пор, года за два до начала рассказа, когда я учил ее испанскому языку. Мое сердце горело в это время на огне совсем другой страсти. Но именно это делало для меня заманчивой встречу с Леночкой. Она была подругой той, о которой я сейчас непрестанно думал, и, в силу ряда случайностей, доверенной моей любви. Если я не мог увидеть... я чуть было не назвал имя, которое мне и теперь еще слишком больно вспомнить... если я не мог ее увидеть, не было ли для меня первым удовольствием в мире по крайней мере поговорить о ней?

Задумавшись, я не заметил, как прошел остаток расстояния, и очнулся только когда передо мной открылась полянка, на которой стоял деревянный дом, обнесенный, вместе с садом и пристройками, полуразвалившимся плетнем. Едва я перешел за калитку, как по посыпанной желтым песком дорожке зазвучали шаги, и мне навстречу показалась длинная тощая фигура Ивана Ивановича, радушно со мной поздоровавшегося.

– А я как раз отправляюсь в деревню, сделать кое-какие закупки, – сказал он, – но, впрочем, я скоро вернусь, а вы пока пообедайте – мы только что кончили.

Говоря всё это, он повернул назад, и, обогнув дом, мы вышли на площадку, где стоял во дворе большой стол, за которым сидело целое общество.

Мой взгляд скользнул прежде всего на милую головку Леночки, ее мелко вьющиеся глянцевитые черные волосы, лукавые темные глазки и раскрывшиеся при виде меня в приветливую улыбку пунцовые губы.

– Вы уже знакомы с Лешей и Сергеем Васильевичем, – констатировал между тем хозяин, – а это вот Олег Мансуров; изучает геологию в Сорбонне. Леночка, посмотри, чтобы Владимира Андреевича накормили как следует, а я пока пойду. Будьте как дома!

И, блеснув пенсне и тряхнув козлиной бородкой, Иван Иванович исчез за углом.

С Лешей Липковским я был действительно знаком, но видел его здесь без особой радости. Это был коренастый и довольно полный молодой человек лет двадцати восьми с рыжеватой шевелюрой и светлыми усиками. Он работал в газете «Русская Заря», где вел спортивный отдел и время от времени составлял мелкие заметки на различные темы. Это давало ему право на звание журналиста, каковым он весьма гордился. Мне бывало забавно, когда его при мне величали литератором, а иногда и писателем, но он принимал это звание вполне всерьез, и умел держаться с апломбом, производившим на публику впечатление, особенно на прекрасный пол, успехами у которого Леша немало чванился.

Гораздо более симпатичным показался мне другой гость Сорокиных, которому меня только что представили. Худой, очень высокий, с густыми черными как смоль волосами, узкий в плечах и груди, с едва пробивающимися темными усами, Олег Мансуров выглядел неловким и робким. Пожав мне руку, он бросил на меня исподлобья быстрый взгляд черных южных глаз, словно прикидывая, могу ли я быть опасен. Мне ситуация сразу стала достаточно ясна, и то, как его взор позже непрерывно следил за каждым движением Леночки, отражая восторг и страдание, только подтвердило мою мысль.

Третий мужчина за столом, Сергей Васильевич Тарасевич, был по профессии инженером и занимал важный пост в какой-то французской фирме. По русским масштабам он был человеком более чем состоятельным и приезжал в Валле-Сент-Мари не иначе как на собственном автомобиле. Я смутно слышал, что он пережил недавно какую-то семейную драму, в результате которой развелся с женой, но подробностей я не знал, да и не очень ими интересовался. Вряд ли Сергею Васильевичу было более сорока пяти лет, но не только двадцатилетней Леночке, но даже и мне, которому тогда только что исполнилось тридцать, он представлялся стариком,

чему способствовали его сутуловатая чрезмерно полная фигура, медлительная речь и общее впечатление флегматичности и вялости, которое он оставлял.

Ну, – подумал я, – неудачно я попал. Столько народу! При них мне с Леночкой никогда не удастся поговорить наедине. И, словно чтобы усугубить мое недовольство, гравий на дорожке вновь захрустел под чьими-то шагами, и на повороте появился мой сегодняшний спутник по поезду.

Леночка выпорхнула ему навстречу и весело защебетала по-французски.

– Марк! Как я рада вас видеть! Как это мило, что вы приехали, а я уж думала, что вы забыли о моем приглашении. Господа, – повернулась она к нам, – позвольте вам представить Марка Бернье, моего коллегу по Школе Восточных Языков.

Новоприбывший уселся рядом со мной; Марья Семеновна, помогавшая Ивану Ивановичу (он с год тому назад потерял жену) по хозяйству, принесла мне и французу суп и бифштексы, которые мы принялись уничтожать, чувствуя себя несколько неловко среди остальных, уже покончивших с едой.

У меня не было большого аппетита, и процесс насыщения не мешал мне следить за происходящим вокруг с праздным любопытством человека, смотрящего на борьбу, не связанную с его собственной судьбой и интересами. Прибытие Вернье явно не понравилось ни Липковскому, ни Мансурову и произвело в ходе общей беседы курьезное изменение. До того оба молодых человека то и дело перемежали русские слова французскими, а то и вовсе переходили на парижский диалект, более им привычный, и разговор вращался вокруг последних фильмов и спорта. Теперь же они стали вдруг, словно следуя некоему договору, с полным согласием говорить только по-русски и даже перешли на чисто русские темы, что почти автоматически приводит всегда к политическим вопросам.

Вернье остался, таким образом, начисто исключенным из разговора и, видимо, это переживал, если судить по движениям его ножа и вилки, которые я, сидя рядом с ним, мог хорошо рассмотреть.

Липковский оживленно ораторствовал между тем о каком-то очередном выступлении Керенского⁴², составлявшем тогда предмет всеобщих споров.

– Что бы там ни говорили всякие зубры, – небрежно изрекал он с неизменной для него абсолютной самоуверенностью, – я целиком разделяю взгляд редакции «Русской Зари», поместившей обращение Керенского и выразившей ему сочувствие. Чего вы хотите! Нельзя же стоять на месте. Смешно в наши дни думать, что еще можно вернуться к самодержавию, – да и зачем, когда именно против него столько лет боролись лучшие силы России? Конечно, для стариков, для которых всё в прошлом, простительно мечтать о царе, но мы, молодежь, должны жить современностью, и для нас эти идеи просто нелепы...

Он на минуту остановился, чтобы мы могли восхититься его красноречием, и в этот момент Мансуров врезался в его рассуждения, словно удила закусил.

– А я так ни с одним вашим словом не согласен. Эти, как вы говорите, зубры, это была настоящая Россия, а не советская гнусность. И я, конечно, политикой не интересуюсь и мало в ней понимаю, но я сын русского офицера, который всю жизнь был верен царю, и я от него слышал, что наделал ваш Керенский. Если уж кому верить, я лучше поверю отцу, чем редакции вашей «Русской Зари»; я его не считаю глупее вас с вашими приятелями.

Я искоса поглядел на молодого геолога и подумал, что этот паренек мне решительно нравился. Под смуглой кожей вся кровь бросилась Мансурову в лицо, и он выпалил свои слова с тем азартом, с каким говорят застенчивые люди, когда их прорывает. Внезапно оборвав речь,

⁴² Александр Федорович Керенский (1881–1970) – политический и государственный деятель, министр, затем министр-председатель Временного правительства России (в 1917 г.), масон. После октябрьского переворота эмигрировал во Францию, затем в США.

он обратил глаза на Леночку, явно в поисках сочувствия. В нормальных условиях он мог бы его и найти, так как Иван Иванович был убежденный и правоверный монархист, и дочь разделяла его взгляды, как я не раз имел случай убедиться. Но женщина не станет отталкивать интересного поклонника ради политики, и она коварно промолчала, загадочно улыбаясь обоим спорящим, словно их подзадоривая продолжать.

Липковский откинулся на спинку стула и грациозно помахал рукой в воздухе.

– В ваши годы, Олег, это уж прямо непростительно проповедовать такие отсталые взгляды. Мы с вами, я вижу, не сумеем сговориться; поищем лучше арбитра. К вам, Владимир Андреевич, я не буду обращаться – елейно улыбнулся он мне, – вы человек партийный.

Замечу вскользь, что Липковский неукоснительно называл меня всегда по имени-отчеству, в чем я усматривал не избыток почтительности, а желание подчеркнуть, что я уже не молод и в кругу молодежи мне делать нечего. Что до себя самого, Леша принадлежал к тому сорту людей, которые в молодости видят нечто вроде пожизненного звания и готовы изображать молодежь вплоть до пятидесяти лет и даже дальше.

– А вот спросим Сергея Васильевича, – продолжал Липковский, – он специалист, и притом он здесь старше всех, раз уж вы, Олег, уважаете стариков больше молодежи. Ну-ка, скажите нам, какому политическому течению вы больше сочувствуете, Сергей Васильевич?

Инженер нехотя поднял взгляд с пустой тарелки, которую он, казалось, внимательно изучал, и промямлил:

– Я, собственно говоря, полагаю, что... по сути дела... самая лучшая партия – это так называемые солидаристы... они, видимо, больше всего ведут настоящей работы... и они, так сказать, вобрали всё молодое и энергичное в эмиграции.

– Теперь всё в порядке, – усмехнулся я. – Политический спектр зарубежья полностью представлен: монархисты, социалисты и солидаристы. Остается только подражаться.

– О нет, ради Бога, не надо! – с комическим испугом вскричала Леночка, вскакивая, – лучше идемте гулять. Marc, venez faire un tour de la forêt!⁴³

Вернье встал с явным облегчением, и Леночка подхватила его под руку. Липковский присоединился к ним, не дожидаясь приглашения, словно это подразумевалось само собою, и все трое направились к выходу.

Мансуров остался на месте, и я видел, как он попеременно и мучительно бледнел и краснел, пока решился встать и последовать за другими.

Они перешли теперь на французский язык, и Липковский, видимо, сказал что-то остроумное – слов я уже не разобрал – так как издали до нас донесся звонкий русалочий смех Леночки.

Я машинально проводил глазами розовое платье девушки между серым костюмом Липковского и коричневым Бернье, пока они скрылись за углом дома; их голоса продолжали еще доходить до нашего слуха несколько минут.

Мы с Сергеем Васильевичем помолчали, потом он зевнул, медленно поднялся со скамьи и, сказав, что пойдет поспать после обеда, направился в глубь сада; Иван Иванович там поставил для посетителей, которым в дни прилива публики не хватало места в доме, три палатки, где можно было с удобством провести ночь в эту жаркую пору. Предоставленный самому себе, я опустил голову на руки и снова отдался потоку мыслей, на время прерванному разговором. В городе меня мучила скука, переходящая в тоску; тут, среди зелени, под шелест листвы, вздрагивавшей при каждом движении теплого воздуха, меня томила щемящая грусть, вряд ли бывшая лучше.

Если бы она была со мной... Бросить всё и поехать в лагерь, где она сейчас? Боже мой, я бы пошел туда пешком, если бы было надо. Но что из этого выйдет? Ничего хорошего... Я

⁴³ Марк, идемте смотреть лес! (фр.)

почувствовал себя еще более одиноким, чем в Париже и, встряхнувшись, решил, что лучшее, это пойти в лес на поиски остальной компании.

Почти у самых ворот я опять столкнулся с Сорокиным, возвращавшимся из деревни с сумкой за плечами. Как любезный хозяин, он проводил меня кусочек дороги, объясняя мне, как лучше идти, чтобы не заплутаться.

– Лес у нас небольшой, но потеряться в нем легко можно, так как на каждом шагу перекрещиваются дорожки, и разобраться в них довольно сложно. А если повернуть не в ту сторону, вы окажетесь в деревне или выйдете к озеру, километрах в пяти отсюда. Но вот я вам покажу одну вещь, которая вам поможет...

Мы вышли на прогалину в чаще кустарника; этот участок леса состоял из лиственных деревьев, в большинстве своем молодых и невысоких, но так переплетенных ветками и росшими среди них кустами, что, оставив дорожку, через них трудно было пробиваться.

От места, где мы остановились, убегали в чащу, в разных направлениях, четыре дорожки, в точности похожие друг на друга. Иван Иванович указал мне у начала одной из них воткнутый в землю шест вышиной в человеческий рост, на верхушке которого развевался маленький бело-сине-красный флажок.

– Это вот указатель для тех, кто идет в мои владения. Сверните на эту тропинку, и вы прямо выйдете к нам. Дальше в лесу есть еще несколько таких перекрестков, но там разобраться проще, а когда вы выйдете сюда, вы теперь знаете направление. Ну, простите, что я вас покину: надо присмотреть, чтобы приготовили ужин и, вообще, чтобы всё было в порядке.

Воспитанный в маленьком городке, где зелени, полей и лесов было сколько угодно, я относился всегда несколько иронически к горожанам, приезжающим на лоно природы и любующимся на травку, восхищающимся всяким кустиком и деревцем. Но сейчас я их отчасти понял, после долгого пребывания среди парижских мостовых. Свернув с тропинки, я пробивался между гибких ветвей, хлеставших по лицу и по плечам, ломая тонкие сучки, перепрыгивая через мелкие канавки, подчиняясь капризу уйти от всего, напоминающего о человеке, и в то же время бессознательно ища человеческого общества.

Как я убедился позже, я не мог, однако, присоединиться к компании гуляющих, потому что они все рассеялись в разные стороны. Довольно неожиданно для себя, проходя по краю глубокого оврага, я услышал вдруг женский голос, звучавший снизу и через сплошную стену зарослей; говорившие не могли меня видеть, ни я их, но я не мог не узнать голоса Леночки и не понять ее слов.

– Нет, Леша, – говорила она с негодованием, но без резкости, – вы не имеете права требовать у меня отчета; я делаю, что хочу. Я вижу, я была с вами слишком мила, и вы уже решили...

Я ускорил шаг, и голоса замерли в отдалении. Мне совершенно не хотелось подслушивать. Прогулка в одиночестве имеет свою прелесть, лес в глубине понравился мне еще больше, чем на опушке, и я бродил по нему два или три часа, останавливаясь в более живописных местах, возвращаясь назад, сворачивая то направо, то налево.

В конце концов, видя, что солнце клонится к закату, и вспомнив, что Иван Иванович не любит, когда гости опаздывают к ужину, я решил вернуться домой. Но, как я ни искал, я не мог обнаружить вехи с флажком и, очевидно, сбился с пути, так как через некоторое время оказался на опушке леса, над крутым обрывом, под которым раскинулась в долине деревушка, красиво подставлявшая лучам солнца свои черепичные крыши и белые стены; черной лентой вился мимо нее железнодорожный путь, и кирпичные здания вокзала отчетливо выделялись на краю поселка: узенькая белая тропинка змеилась под гору, ведя к засеянным полям и сливаясь где-то далеко внизу с большой дорогой, в свою очередь переходившей в главную улицу деревни.

Над обрывом, на самом зноем солнца, только начавшего слабеть, сидела человеческая фигура, и, присмотревшись, я узнал Бернье, задумчиво сложившего руки на коленях.

– Алло, мсье Вернье! – окликнул я его приветливо. – Как вам нравится ваш уик-энд? Он обратил ко мне задумчивый взгляд, в котором мелькнуло что-то вроде недоверия.

– По правде сказать, не особенно. Я тут оказался единственным иностранцем среди русских и чужим в компании близко знакомых между собою людей. У меня впечатление, что я здесь никому не нужен, да мне и самому несколько неловко. Мне думается, я не буду ждать ужина, а прямо отправлюсь на вокзал и вернусь в Париж. Вы не откажетесь передать мой привет хозяевам и поблагодарить за гостеприимство?

– Слушайте, – ответил я, – по-моему, вы поддались совершенно ошибочному впечатлению, и если вы останетесь до завтра, то перестанете чувствовать какую бы то ни было неловкость и станете своим человеком в здешнем мире. И притом, насколько мне известно расписание, на последний поезд в Париж вы уже опоздали и вам волей-неволей придется ждать до утра. Идемте лучше вместе домой.

Мои слова, как мне показалось, заставили молодого француза поколебаться, но, подумав, он покачал головой.

– Нет, я всё же попробую справиться на станции. Если поезда в самом деле нет, тогда, конечно, придется вернуться к мсье Сорокину.

– Валяйте, – сказал я на это, – надеюсь, что вы еще не опоздаете к ужину.

Я снова углубился в лес и вскоре, на повороте одной из его дорожек, заметил впереди себя синий костюм, ускорив шаги, я догнал понуро шагавшего Мансурова. Мы двинулись дальше вдвоем, но все мои попытки завязать разговор были безуспешными.

Он мне отвечал односложными словами, явно углубленный в собственные нерадостные думы, и я нисколько на него не обижался, без труда угадывая всё, что он переживает. Мне хотелось дружески сказать ему что-нибудь успокоительное, посоветовать не терять надежды или даже выразить удивление, что Леночка может интересоваться таким пустым фанфароном, как Липковский, но, в конце концов, мы с Мансуровым были едва знакомы, и он мог бы счесть подобное поведение за чрезмерную фамильярность. Поэтому я тоже замолчал, и мы вместе большими шагами двигались к дому Сорокина. Мансуров, видно, лучше меня помнил дорогу; через десять минут мы вышли на поляну, где развевался трехцветный флаг, и вскоре были уже у ворот нашего пристанища. Здесь к нам присоединился Бернье.

Вид у него был несколько смущенный, и я нарочно приветствовал его самым сердечным тоном.

– Вы оказались правы, сударь, – сказал он, – последний поезд уже ушел, и, – ничего не поделаешь, – я должен подождать до завтра.

– Вот и хорошо, – отозвался я, – оставайтесь с нами до утра, а то и дольше. Зачем вам, собственно, торопиться в Париж? Тут, в обществе, я уверен, мы весело проведем время.

В саду, за столом, где мы обедали, играли в шахматы Иван Иванович и Сергей Васильевич.

– Ну вот, еще пять ходов, и вы получите мат, дорогой Сергей Васильевич.

Сорокин был настроен благодушно и весело.

– А вы так гордились и считали, что мне с вами нельзя равняться. Видно, я оказался способным учеником... Нет, нет, как ни ищите, вы не найдете выхода из положения. А вот молодежь. Пора, пора, господа, уже следовало подавать ужин. Да где же Леночка? Еще гуляет с Лешей?

При этом замечании Мансурова всего передернуло. Вернье, ничего не понимавший, так как разговор опять шел по-русски, – не совсем тактично с нашей стороны, – обвел глазами присутствующих и заметно помрачнел, сделав, очевидно, вывод о том, кого не достает.

Мы уселись на скамьи. Завязалась новая партия в шахматы, опять клонившаяся к победе Ивана Ивановича, но в общем настроение было какое-то вялое, беседа не клеилась. Странно, когда вспоминаешь об этом, какое давящее чувство овладело всеми нами, словно на нас упала

мрачная тень, словно нас угнетало уже роковое предчувствие того, что должно было произойти...

Иван Иванович несколько раз нервно заметил, что Леночка никогда раньше не запаздывала к ужину, и на одном из этих замечаний его прервал вышедший в сад Леша Липковский.

Нас всех поразило, что он пришел один, и Сорокин выразил нашу общую мысль, спросив его о дочери.

Липковский, казалось, был удивлен.

– Леночка? Да разве ее еще нет? Мы с ней разошлись в лесу уже часа два-три назад, и она собиралась идти прямо домой. Я успел дойти до озера, выкупаться и полежать на солнце, а ведь туда порядочно... Где же бы это она могла задержаться?

Сорокин покачал головой и сказал, стараясь не выдавать внутреннего беспокойства, что ему, впрочем, плохо удалось:

– Пожалуй, я схожу в лес ее поискать.

– Нет, – возразил я, вскакивая, – вы уже устали сегодня, Иван Иванович. Позвольте мне, я ее приведу.

Мансуров молча и решительно присоединился ко мне; за нами, потоптавшись минуту, увязался и Липковский.

Мы думали разойтись в лесу и двинуться в разных направлениях, перекликаясь погромче, пока не столкнемся с беглянкой или пока она не отзовется. Но мы не успели привести свой план в исполнение. Всё разыгралось куда быстрее, чем можно было ожидать...

Почти на опушке леса, не доходя нескольких десятков шагов до шеста с флагом, я, по какому-то непонятному импульсу, которого сам не в состоянии был бы объяснить, свернул вбок, в кусты. Быть может, подсознательно мое внимание привлекла поломанная ветка или смятая трава... но есть ли смысл искать причину?

На маленькой прогалине за высоким кустарником меня встретило зрелище, от которого я оцепенел, о котором я стараюсь пореже вспоминать.

Посреди лужайки навзничь, слегка согнув ноги в коленях, лежала Леночка, и ее платье выделялось розовым пятном на фоне невысокой изумрудной травы... а по этому платью, с левой стороны, на ее груди темнело другое, большое красное пятно. Вечерело, но последние лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь ветви деревьев и кустарника, падали еще горячими стрелами на ее побледневшее лицо, и в струях света над ее глазами и губами плясала стая мошкар... почему-то именно эта деталь особенно леденящим ощущением прошла по моим жилам и разом заставила забыть о душной теплой атмосфере этого жаркого вечера, мало чем уступавшего полудню.

Как я ни был потрясен, что-то в моем сознании с фотографической четкостью зарегистрировало всё, что находилось в поле моего зрения, не только тело девушки, – ни на минуту нельзя было сомневаться в том, что она мертва, – до последней подробности ее вскинутых темных ресниц и полураскрытого рта, но и фигуры моих спутников возле меня; окаменевшего, вытянувшись во весь свой рост, Мансурова с судорожно сжатыми челюстями и сдвинувшимися черными бровями, в которых сгустились гнев и ужас; болезненно побледневшее, растерянное лицо Липковского, как-то сразу сгорбившегося, и под которым, если мне не почудилось, ноги подгибались, с трудом выдерживая его вес.

Самый старший из всех, я боюсь, подал другим плохой пример. Откуда-то издалека до моих ушей вдруг донесся мой собственный изменившийся и прерывающийся голос, бессвязно говоривший, что тому, кто это сделал, я бы своими руками переломал его кости до единой, что его следовало бы наполовину сжечь на костре и живым зарыть в землю... Правда, я достаточно быстро опомнился, и эта дикая речь остановилась на полуфразе. Но было уже поздно.

Повернувшись к Липковскому, Мансуров со сжатыми кулаками бросил ему в лицо:

– Вы остались с ней наедине... Я видел, что вы отделились от француза... О, зачем она не послушалась меня... Но если это вы... если...

Физиономия журналиста изменилась под этим обвинением, и я почувствовал, как всякое сочувствие к нему отхлынуло от моего сердца. Вместо горя и испуга, его черты выражали теперь только отталкивающую злобу.

– Если вы следили за нами, рыцарь печального образа, – ответил он шипящим тоном, в котором издевательство теряло силу от прилива ярости, – вы многое могли видеть и слышать, что вам не понравилось. Мне-то было незачем ее убивать... А вы, если вам надоело исполнять смешную роль с вашей отвергнутой неземной страстью и вздумалось сыграть трагедию... вы можете дорого за это заплатить...

Я кинулся между ними:

– Побойтесь Бога, господа! в такой момент... разве мы имеем право сводить счеты между собой?

Однако удержать Лешу было нелегко.

– Вы, Рудинский, не изображайте миротворца... С какой стати вы хотите надо мной командовать? Вы тут не среди ваших монархистов, нечего корчить из себя вожака... И, между прочим, вы что-то подозрительно скоро нашли это место... Откуда вы знали о нем?

Стрела была ядовита. Но я справился с собой.

– Оставим это для следствия. Сейчас нужно известить Ивана Ивановича и вызвать полицию. Олег, можете вы посторожить здесь?

События последовавшего часа смешиваются в моей памяти, и только отдельные отрывки выделяются яркими бликами. Убитое, почти оцепеневшее лицо Сорокина при страшной вести... Вернье, предлагающий сбегать в деревню за жандармами... Липковский, с жестами и повышениями голоса рассказывающий инженеру свою версию событий...

Я словно пришел в себя только тогда, когда калитка приоткрылась и в сад, следуя за Вернье, проникли трое людей. Один, громоздкий и полный, был одет в жандармскую форму, но всё мое внимание приковалось к шедшему с ним рядом высокому и худощавому мужчине с копной светлых волос. Неожиданно для себя я узнал в нем инспектора Ле Генна, с которым познакомился год назад, в связи с одним романтическим инцидентом, и потом завязал дружеские отношения.

У меня могло бы шевельнуться сомнение в том, как он отнесется ко мне при исполнении служебных обязанностей, но, прежде чем я это подумал, он с широкой улыбкой пожимал мне руку.

– Не ждал вас встретить здесь, Рудинский, но очень рад... Вы мне поможете разобраться в происшествии. Позвольте вам представить: бригадир Мартэн, доктор Рони.

Сказав несколько слов присутствующим, Ле Генн отозвал меня в сторону.

– Но как вы это оказались здесь так скоро? – спросил я его. – И почему вы занимаетесь этой историей? Ведь ваша специальность в полиции совсем иного рода?

– Случайность, дорогой друг. Она правит миром. Мне было поручено в этой деревне другое дело, целиком в моей сфере, довольно запутанное, и для меня не очень интересное. Из-за него я больше недели живу здесь, и сегодня, когда бригадир, мой коллега, услышав о тягостном событии, попросил меня принять участие в следствии, я не отказался, так как порядком скучаю в этом глухом углу. Удачно, теперь я позабочусь, чтобы вас ничем не побеспокоили. Но расскажите мне, хотя бы в общих чертах, о сложившейся здесь ситуации.

В скупых словах, но стараясь не упустить ничего важного, я дал Ле Генну картину отношений в лагере. Он выслушал меня внимательно и молча; затем спросил у всех присутствовавших их имена, задал каждому два-три вопроса рутинного порядка и попросил меня проводить его на место инцидента. Доктор и жандарм пошли вместе с нами.

Мы нашли Мансурова, бледного как смерть, сидящим на стволе сломанного дерева в десяти шагах от трупа.

Ле Ганн задал ему пару вопросов и отослал в дом, к остальному обществу. Врач склонился над телом девушки, а Ле Ганн, попросив нас не двигаться с места, сделал несколько кругов около полянки, нагибаясь и рассматривая почву, останавливаясь и будто размышляя. Потом он вернулся к нам.

– Ну, что вы скажете, доктор?

Рони, пожилой человек с квадратными плечами и добродушным лицом, задумчиво покачал головой и начал осторожно, словно опасаясь сказать лишнее:

– Смерть последовала три или четыре часа тому назад, более или менее мгновенно, от удара колющим оружием, нанесенного почти параллельно земле, слегка сверху вниз, с большой силой, пробившего сердце и пронзившего корпус насквозь, выйдя под левой лопаткой...

– Это довольно неопределенно, дорогой мой, – перебил его Ле Генн несколько иронически, – не могли бы вы нам сказать, какого рода было это оружие? Что оно было колющее, я вполне в состоянии был догадаться.

Медик слегка развел руками.

– Это немножко странно, но я бы сказал, что это было копье... во всяком случае, нечто похожее...

У жандарма и, наверное, у меня тоже на лице отразилось удивление.

– Мы, однако, не на острове Фиджи, а? – задумчиво произнес инспектор. – Хотя и в Париже всякое бывает, – он бросил мне косой взгляд, и я, может быть, покраснел, схватив его намеки на обстоятельства нашей первой встречи.

– Ладно. Мсье Рудинский, ничего, если я вас попрошу мне немножко показать лес и восстановить, по мере возможности, ваш маршрут в нем? А, вы, господа, подождите меня в доме.

– Самое трудное во всем этом, – сказал он, когда мы остались одни, – что мотивы к убийству были, равно как и возможность его совершить, по меньшей мере у трех лиц. И еще, если бы не мое абсолютное доверие к вам... другой мог бы не без основания заподозрить вас тоже. Мы ничего не имеем, кроме вашего слова, чтобы доказать, что у вас не было сентиментального интереса к жертве, и даже многое говорит в пользу подобного предположения; и поскольку вы были в лесу в одиночестве, вы вполне могли совершить это злодеяние без свидетелей. Но нет, нет... – остановил он меня, заметив мое движение протеста, – я вас целиком освобождаю от всякого сомнения. Беда та, что и без вас слишком много кандидатов на роль преступника. Вернее кажется очень милым мальчиком, но явно нервного, эмоционального характера, и, я уверен, был увлечен девушкой. Не удивительно, – его голос прозвучал серьезнее, чем всё время, – она была очень хороша. Надо было быть зверем, чтобы... Но под влиянием ревности любой человек, даже мягкий и благородный по натуре, становится иногда зверем. Что до их отношений – напрашивается небольшое выяснение среди их товарищей по Школе Восточных языков, но заранее убежден, что оно подтвердит мою гипотезу.

Ле Генн несколько минут смотрел вниз, под откос, на деревню – с высоты обрыва, где мы стояли, в сгущавшемся сумраке она сливалась в сплошную массу, – и мы снова повернули в чащу леса.

– Теперь, Мансуров, – продолжал сыщик медлительно, – этот прямо отлит, чтобы быть виновным. Подозрительный номер один... – Шарль Ле Генн взглянул мне в глаза и, должно быть, прочел в них сожаление; по его тонким губам скользнула улыбка:

– Вы уже видите его гильотинированным? Если бы у вас был опыт в полицейской работе, вы бы знали, до чего редко тот, на кого первым делом падает подозрение, оказывается виновным.

Мы направлялись теперь к даче Ивана Ивановича.

– Опять-таки, милый господин Липковский – я заметил, что он у вас не вызывает симпатии; политические расхождения, не так ли? – иностранцу очень трудно разобраться в этих нюансах; это тоже, между прочим, тернии нашего ремесла. У него бы не было никаких видимых причин к подобному акту кровавого безумия... не считая факта, что он о чем-то поспорил с предметом своей любви... перед самой ее смертью, если наш служитель Эскулапа не делает ошибки. Он не такого темперамента, как Мансуров, с его молчаливым обожанием и внутренней драмой, или даже как Вернье, с его артистической складкой и непрестанным волнением. Но он производит впечатление молодого человека с известным запасом жестокости, мстительным характером и, главное, с гипертрофией самолюбия... Да, да, самолюбие, – повторил, словно смакуя, инспектор. – Если его вдруг отвергли ради Мансурова, – который недурен и преданность которого могла растрогать любую женщину, – или ради Вернье, который, видимо, имел успех, – и если ему это было сказано достаточно прямолинейно, без обиняков, он мог впасть в состояние берсеркерской ярости... Я вполне могу себе вообразить...

– Но, послушайте Ле Генн, – воспользовался я его минутным молчанием, – мы тут касаемся пункта, который меня прежде всего сбивает с толку. Что это за нелепость о копье? Если это Липковский... чем он мог ударить девушку? Я понимаю, нож... но не носил же он с собой пику?

– Нет, – отозвался мой собеседник почти рассеянно, – тут я не вижу особой трудности. – И, шагнув в сторону, он легким жестом сильной руки вырвал из земли шест, на вершине которого болтался русский флажок, – и повернул его параллельно земле на уровне груди. Моим глазам представился трехгранный остро отточенный железный наконечник.

– На металле не видно крови; она стерта землей, – голос Ле Генна принял тот полусонный, мечтательный оттенок, который, я несколько раз замечал, был типичен для минут, когда его мозг особенно напряженно работал, когда он приходил к решающим выводам о какой-нибудь запутанной и мрачной загадке, – но на нижней части древка, мне кажется, еще заметен красноватый отблеск. Вопрос химического анализа... Что до этой палки, – бретонец всадил ее точно в прежнее место, – в ней, очень вероятно, ключ ко всему. Догадался убийца или нет стереть следы пальцев?

That is the question...⁴⁴

Все население дачи, с прибавкой доктора и жандарма, теснилось вокруг того же самого стола, на котором теперь горела лампа; некоторые перекидывались словами, но при нашем появлении окончательно наступило тягостное безмолвие.

Ле Генн остановился в трех шагах от стола, положив руки в карманы и едва заметно раскачиваясь. Свет лампы вырывал из мрака его удлиненное лицо, тонкий нос, высокий лоб и внимательный взгляд серых глаз, поблескивавших порой, как обнаженная сталь шпаги.

– Господа, – начал он тихо, но ясно, – меня глубоко огорчает трагическое происшествие, приведшее меня в вашу среду. При создавшемся положении, я вижу свой долг в том, чтобы как можно скорее разрешить стоящую перед нами всеми задачу очистить невиновных от всякой тени подозрения и положить конец тому томлению, какое каждый из вас не может не испытывать. Извините меня, если я принужден буду задать некоторым из присутствующих еще несколько вопросов, являющихся формальностью, но без которых я не хотел бы всё же обойтись. Мсье Сорокин, вы оставались в саду, после того, как вернулись из деревни?

– Да, – дрожащим голосом ответил Иван Иванович, казавшийся постаревшим на десять лет за один день, – мне надо было ответить на два деловых письма, и это отняло у меня часа полтора... а потом Сергей Васильевич, я хочу сказать мсье Тарасевич, проснулся и мы стали играть в шахматы.

⁴⁴ Вот в чем вопрос... (англ.) (знаменитая фраза шекспировского Гамлета).

– И мадам Иванюк (Это была фамилия Марии Семеновны) тоже не выходила из дому? Простите меня, мадам, чистая формальность... долг службы...

– Нет, никто не мог выйти; я работал тут, у стола, и, если бы кто-нибудь воспользовался калиткой, он должен был бы пройти мимо меня; и я бы его, понятно, заметил.

– Благодарю вас. Мсье Тарасевич, – тон Ле Генна стал вдруг холоден и бесповоротен, – я полагаю, чистосердечное признание будет для вас самое лучшее. Даже если вы стерли след пальцев с копья... но я не думаю, чтобы вы успели... а при современном состоянии дактилоскопии отпечаток будет бесспорной уликой. Согласитесь, что при исследовании вашей жизни за последнее время мы найдем психологические данные, против которых вы будете бессильны бороться.

Десяток изумленных, застывших от испуга глаз повернулись к инженеру, вставшему на ноги. Его плотная фигура предстала нам вдруг агрессивной и угрожающей, какой мы ее никогда прежде не видели, и хриплый голос прозвучал страстью, перед лицом которой отступает всё.

– Хорошо. Я не доставлю вам удовольствия выматывать себя двадцатичетырехчасовым допросом и применять ко мне всю вашу грязную систему легальных пыток, – он говорил по-французски совершенно правильно и без труда. – Мои нервы слишком много вынесли за последнее время. Да я и не знаю, хочу ли я еще жить? Да, я ее убил... бесполезно спорить, вы найдете отпечаток на шесте. Я только жалею, что я не убил этого пустоголового хвастуна тоже, – он швырнул Липковскому взгляд, от которого тот задрожал.

– Я был для нее достаточно хорош, когда тратил на нее деньги; ей нравился мой автомобиль, мое радио, театр и рестораны, куда я ее приглашал. И когда я ради нее развелся с женой... совершил преступление перед собственной совестью, перед женщиной, отдавшей мне свои лучшие годы... после надежд и обещаний, когда я готов был говорить с ее отцом... какой-то трус, мелкая дрянь без мозга и без воли, оказывается лучше меня, только потому, что он моложе... да, она сказала мне, что я слишком стар. Она не видела этого прежде? Слишком стар, чтобы быть игрушкой; мужчина в мои годы принимает любовь всерьез. Но если бы я знал, что вы меня поймаете... я бы ни за что не отказал себе в удовольствии тем же шестом проломить голову вот этому молодчику...

Минутная пауза была переполнена словно электрическим током, и даже дышать казалось трудным. Потом Ле Генн сказал, уже почти приветливо, с оттенком грусти:

– Мсье, правосудие взвесит тяжесть вашей вины и степень снисхождения, какой заслуживают испытанные вами переживания, побудившие вас к действиям, столь гибельным и печальным. Позвольте мне два-три технических вопроса. Где вы встретились в последний раз с мадемуазель Сорокиной?

Инженер грузно опустился на прежнее место, на котором соседи, Мансуров и Вернье, испуганно от него отодвинулись. В его интонациях появились обычные вялые нотки, словно буря уступила место штилю.

– С самого моего приезда, с утра, я искал и не находил случая поговорить с Еленой наедине. Для меня было притом неясно, избегает она меня или всё это само так получается. После обеда я сделал вид, что иду спать, а вместо этого перелез через забор за палаткой, перепрыгнул через канаву и отправился в лес. Наверное, вы нашли мои следы в крапиве или в грязи у канавы. Но как было их уничтожить? И притом, тогда я еще не знал, что произойдет. Неожиданно быстро, в лесу, на поляне, где расходятся дорожки, я оказался лицом к лицу с Еленой. Тут-то она мне и сказала... не хочу повторять всего... И она думала, что я это стерплю! – и в голосе инженера опять всплеснулась волна неистовой ярости. – Она повернулась ко мне спиной и хотела уйти. Я задушил бы ее, но мне на глаза попался шест... я вырвал его из земли... мне бросилось в глаза острие – до того я думал, что это будет просто дубина... и пошел за нею... она обернулась... ужас изобразился у нее на лице, и она пыталась меня остановить, что-

то сказать... но меня и сам Бог в этот момент не остановил бы... я ударил ее и попал прямо в сердце... она упала на спину на краю дорожки... я бессознательно выдернул копье и бросил в кусты... потом оттащил труп подальше в заросли... В этот момент я услышал на поляне шаги, и взглянув, увидел, что это Рудинский. Он как будто искал вехи и не мог найти. Я испугался, что всё раскроется, и у меня мелькнула безумная мысль наброситься на него сзади и убить, но я понял, что это было бы бессмысленно. Он повернул в противоположную сторону и скрылся из вида. Тогда я водрузил шест на то же самое место и возвратился прежним путем в палатку, а спустя некоторое время вышел оттуда, сделав вид, что только что проснулся, и сел играть в шахматы с Иван Ивановичем.

Когда жандарм увел Тарасевича и доктор ушел домой, Ле Генн предложил мне его проводить. Дорожка, по которой я пришел днем, совершенно по-новому выглядела под лунным светом, вся в таинственных тенях прямых сосен, кроны которых тихо перешептывались под прохладным ветерком.

– Я предчувствую, что вы хотите меня допросить, как я обнаружил преступника? – вздохнул инспектор с притворным смирением. – Пусть будет так. Первым делом, я в основном стрелял наугад. Никаких настоящих доказательств у меня не было. Следов, о которых Тарасевич вспомнил, я не видел, – и не так легко найти следы в траве, – а если бы и нашел, кто бы смог разобраться, когда он их сделал? Никому не запрещено по уголовным законам лазить через забор для прогулки в лесу. У меня было одно: психологическое убеждение, что убийца – он. Откуда – оно взялось? Я им обязан исключительно вашему рассказу о событиях, в котором вы с большой наблюдательностью подметили массу мелких, но очень важных подробностей. Так, вы указали, что инженер проиграл Сорокину три партии подряд, тогда как вообще он играет гораздо лучше, чем тот. Очевидно, он волновался. Но про убийство он не мог еще знать... Тут что-то требовало исследования. Затем, вы упомянули, что он разошелся с женой. Это обычно делается из-за другой женщины, и, когда речь идет о мужчине средних лет, нередко из-за молодой девушки. Тарасевич человек богатый – но почему-то постоянно ездил отдыхать в Вале-Сент-Мари. Он мог бы себе позволить куда более удобный и шикарный лагерь, при наличии автомобиля, даже оставаясь в русском кругу, я полагаю. Из собиравшегося здесь общества, по вашим рассказам, ему никто не мог быть особенно интересен, кроме мадемуазель Елены. Но открыто он за ней не ухаживал... На основе этих данных я построил свою теорию и рискнул на лобовую атаку, как видите, вызвавшую виновного на признание. Что же, – Ле Генн откровенно улыбнулся, – я поддержал честь парижской полиции в провинции: всё следствие заняло не более двух часов. Теперь придется вернуться к моему делу о спиритизме... но оно почти закончено.

Мы попрощались в деревне, на пороге маленького отеля, где остановился Ле Генн, и я вернулся к Сорокину.

* * *

Удушливая жара сменилась грозой, и когда через два дня рано утром я возвращался в Париж, ливень хлестал струями в окна вагонов, и лишь смутные контуры деревьев, телеграфных столбов и зданий виднелись через густую пелену воды.

Бернье, внешне сохранивший полное хладнокровие, но время от времени нервно вздрагивавший, уехал еще накануне на рассвете, с первым поездом, а с двенадцатичасовым отретировался и Липковский, посеревший от переживаний, но оставшийся неприятным до самого конца.

Я остался еще на день, стараясь хоть немного успокоить Ивана Ивановича и помочь ему в его заботах. Во всем этом меня поддержал Олег Мансуров, ехавший теперь вместе со мной. Ему тяжело далась потеря, и последовавшее разочарование пришлось, пожалуй, еще горше.

На такие натуры, с их искренним идеализмом, разрушение идеала действует хуже, чем смерть или разлука. Но он был еще так молод, что радость жизни и интерес к окружающему уже брали в нем верх над унынием. Мы весь предшествовавший день то и дело затевали разговор о случившемся, и с него несколько раз переходили на темы о политике, – и всё более убеждались, что мы единомышленники, – на книги и искусство, обнаруживая много сходных вкусов, на общих знакомых, которых у нас оказалось немало.

Разговор продолжался в поезде, и, прощаясь на вокзале, мы условились встретиться в ближайшие дни. Приятное чувство, что я, кажется, нашел себе нового друга, сильно смягчало мрачное воспоминание об убийстве в Вилле-Сент-Мари, как газеты, уже продававшиеся в киосках, называли рассказанную выше историю.

Я возвращался домой по широкому бульвару, осыпанному каплями дождя, отражавшими солнце, вспыхивая точно бриллианты. Свежий ветер был полон бодрости и казался пьянящим, как вино, уносящим заботы и печали с собою вдаль, снимая с души ее бремя. Раннее летнее утро – бывает ли более прекрасное время на свете!

– Я ее не увижу еще три месяца, – мелькнула знакомая тоскливая мысль, но какой-то другой голос подсказал: два месяца и двадцать дней... можно считать, два месяца с половиной... только два с половиной месяца, и я опять с нею встречу! Она не умерла, как Леночка, не потеряна для меня навсегда... может быть, в отеле меня ждет ее письмо?

И я невольно ускорил шаги...

Дьявол в метро

There was a study called «Subway Accident», in which a flock of the vile things were clambering up from some unknown catacomb through a crack in the floor of the Boylston Street subway and attacking a crowd of people on the platform.

H. P. Lovecraft, «Pickman's Model»⁴⁵

– Чего вы от меня хотите, инспектор? Если я вам расскажу всё, как было, вы мне не поверите. А если я буду замалчивать факты... так, во-первых, у меня нет к тому никакой причины, а во-вторых, вы начнете меня подозревать Бог знает в чем; да вы, кажется, меня уже подозреваете...

– Нет, не говорите: вы ведь не знаете, какого рода историю я должен вам рассказать. Всякий нормальный человек найдет ее бредом! Но вы видите сами, что я не пьян, и вы можете навести обо мне справки: все подтвердят, что я человек уравновешенный и серьезный. Обратитесь хотя бы в типографию Ла Жиронньер, где я работаю наборщиком... Я вам уже сказал, что моя фамилия Кердре, Жан-Мари Кердре.

– Как, вы тоже бретонец, инспектор? Из Третье? А я из Морбигана, с другого конца нашей старой Арморики. Но всё же мы, значит, земляки.

– Хорошо, я расскажу вам всё по правде. В тот вечер я сел в метро на остановке Плас де Фет, уже около полуночи. На перроне, когда я спустился вниз, находился только один пассажир, который ходил взад и вперед и словно бы испуганно на меня оглянулся. Я невольно посмотрел на него внимательно. Думаю, что ему было лет сорок, хотя на вид можно было дать больше: его лицо, казалось, было изношено удовольствиями и страстями. Очень элегантный серый костюм, яркий галстук... он, видимо, был слегка навеселе – я подумал, что он возвращается из какого-нибудь увеселительного заведения. Но меня поразило выражение его глаз... из них глядели страх и нечистая совесть; и его черты время от времени искажал какой-то отталкивающий тик.

Когда подошел поезд, который был совершенно пуст, сколько я мог заметить, я вошел в последний вагон, а господин в сером костюме в предпоследний. С моего места мне было ясно видно через застекленные двери, как он сел на скамью, нервно перебирая в руках какой-то журнал. У меня не было с собою ничего для чтения, и от скуки я машинально наблюдал за ним.

Именно тогда вдруг произошло нечто неожиданное и чудовищное, такое, что я не мог поверить своему зрению. Я увидел, как с потолка в соседнем со мною вагоне прыгнул гигантский, голый и черный человек. Да, он был совершенно черный, иссиня черный, и мне его огромная спина напоминала чем-то шкуру тюленя.

– Вы говорите хвост, инспектор? Да, может быть. Но, вы понимаете, я не могу ни за что поручиться; если принять во внимание мое изумление... я был настолько ошеломлен, что, должно быть, так и застыл с раскрытым ртом. Но я скажу вам другое, теперь, когда я об этом думаю: при его падении на пол, я услышал издали глухой стук... такого стука не могут сделать босые человеческие ноги.

– Я, понятно, не мог ничего предпринять: ведь двери между вагонами были заперты. Да и вряд ли я бы захотел очутиться там, ближе к исчадью ада, которое видел, как сейчас вижу вас. В одно мгновение он схватил несчастного, и... Вы видели труп, инспектор. Я наверное, никогда не забуду этой омерзительной, вызывающей дрожь картины. Вы заметили череп бед-

⁴⁵ «Там был этюд под названием “Несчастный случай в метро”, в котором стая неких жутких существ выползала из неведомых катакомб через образовавшуюся в почве трещину и, вскарабкавшись на площадку подземной железной дороги на станции Бойлстон, накидывалась на ожидавшую поезд публику». Г. Ф. Лавкрафт, «Модель Пикмана» (англ.).

няги, раздавленный, словно яичная скорлупа? Корпус, разодранный почти напополам от плеча до желудка? Начисто оторванную кисть его правой руки, которой он пытался защищаться? Всё это он, черный, сделал одними руками, в несколько неуловимых секунд...

– Воды? Да, спасибо, инспектор. Когда я только восстанавливаю в сознании то, что я пережил, мне делается дурно, а я ведь не слабонервная институтка. Но есть предел людскому мужеству... Я слышал разные истории, у нас, на островах и на побережье, но такую – никогда. И признаюсь вам, здесь, в центре большого города, оно гораздо страшнее, чем среди наших родных туманов и пустынных ландшафтов...

– Благодарю вас, у вас прекрасные папиросы. Сразу чувствуешь себя лучше... Так вы не сомневаетесь в моих словах? Ну, я понимаю, что вам, по вашей профессии, многое случается видеть... но неужели бывает что-либо подобное этому? Прямо-таки невероятно.

– Что было дальше? Мы находились в этот момент в середине пути между двумя станциями: мимо окон шла непрерывная серая стена камня. Но страшное создание, покончившее со своим делом прежде, чем я успел что-либо понять, совершенно свободно вышло из поезда – и я даже не могу сказать, открыло ли оно дверь, или прошло через закрытую! – и исчезло в гранитной стене.

– Кажется, я истерически закричал... в этот момент поезд подошел к станции. Какая-то дама поспешно открыла дверь соседнего вагона, желая войти... и закричала еще громче. Через минуту в мое отделение вскочил кондуктор, поднялись шум и суета... Но я был так взволнован, что ничего не сумел рассказать.

– Само собой... Мне и самому совершенно невыгодно разглашать эту историю. Можете быть спокойны, я буду молчать, как убитый. О, я расскажу, что был свидетелем того, как один незнакомый господин попал под поезд, – вот и всё.

– Значит, вы за ним следили. Неужели он в самом деле мог... Ах, какой негодяй! И нельзя было его арестовать? Отвратительно даже подумать, что существуют подобные субъекты! Договор с Сатаной... Разумеется, шутить с князем тьмы небезопасно, и обмануть его для человека невозможно... Да, теперь я понимаю всё. Господь да сохранит нас от всякого соприкосновения с силами зла!

В борьбе с трупом

*The splendid fearful herds that stray
By midnight, when tempestuous moons
Light them to many a shadowy prey,
And earth beneath the thunder swoons.*

Arthur O'Shaughnessy, «Bisclaveret»⁴⁶

Мы справляли день рождения Вали, двадцать пятый по счету. Мне думалось всегда, когда я смотрел на женщин, как хрупка и мимолетна их красота. Несколько лет блестящего расцвета, и она уже непоправимо идет на убыль, гибнет, как бабочка-однодневка, осыпается, как цветок. Валя решительно представляла исключение. Я был с нею знаком уже по меньшей мере семь лет: судьба нас столкнула в первые же дни моего пребывания во Франции. За это время она не только ничуть не подурнела, но становилась день ото дня лучше. Непосредственной грацией веяло от ее высокой гибкой фигуры, живо и задорно глядели смеющиеся глаза под курчавыми темно-русыми волосами, непобедимо заразительной оставалась улыбка на ее устах. Но не в этом заключалось ее обаяние; в ней была прелесть русской женщины, умение просто и по-товарищески подойти к любому человеку, мужчине или женщине, разделив его чувства, порадоваться с ним вместе его удачам, посочувствовать его горестям. Частенько я удивлялся, откуда у нее, дочки простой и бедной семьи из Одессы, взялся природный такт, какому могла бы позавидовать герцогиня, в силу которого она всегда чутко понимала, что можно и чего нельзя сказать, как каждого развеселить и привести в хорошее настроение, как никого не задеть и не обидеть.

В этот день она была особенно хороша в своей скромной желтой кофточке и широкой пестрой юбке, и я замечал восхищенные взгляды, которые бросали на нее все собравшиеся за столом мужчины. Наше общество было довольно смешанным по национальному составу: больше всего русских, несколько татар, приятелей Энвера, и даже один сиротливо затесавшийся в нашу компанию француз – он был женат на хорошенькой Айше, землячке Валиного мужа, переделавшей в Париже свое имя на Элизу, но оставшейся незаменимым членом той же группы крымцев из новой эмиграции. Со стены, словно слушая звон стаканов и живой говор на трех языках, смотрел на нас портрет Николая Второго в великолепном гусарском мундире.

По счастью, Энвер не замечал этого восхищения, которое мог бы найти чрезмерным; в обычное время он был безумно ревнив, в том числе и ко мне, хотя в моем сердце безраздельно царила другая богиня.

Сейчас он с увлечением пел какую-то старинную песню на родном наречии и вспоминал со своим соседом красоты Ялты и Алушты, и его большие черные глаза, затуманенные ностальгией, глядели не вокруг, а в далекий край за тысячи и тысячи верст, не в нынешний день, а в прошедшие годы.

Выпито было немало, и даже черный кофе не мог вполне приглушить звона, стоявшего в голове у нас у всех, включая и меня, который не очень податлив на действие алкоголя. Пропета была уже не одна песня по-русски, по-украински и по-татарски, и сейчас разговор разбился на мелкие группы, не слушавшие одна другую и притом употреблявшие разные языки.

⁴⁶ «Их грозные стаи бродят в бурные ночи, когда выглядывающая из-за туч луна помогает им хватать свои жертвы, а земля дрожит под ударами грома». Артур О'Шонесси, «Бисклаверет» (англ.). Артур Уильям Эдгар О'Шонесси (Arthur William Edgar O'Shaughnessy; 1844-1881) – британский поэт ирландского происхождения.

– А вот я на днях слышала одну историю, – донесся до моего слуха словно бы издали тихий музыкальный голосок Вали. Она откинулась назад, и мечтательная, слегка боязливая улыбка приоткрыла ее губы. Я признал на ее чертах то выражение, с которым она обычно слушала всякие страшные рассказы (я их для нее собирал повсюду и любил ей повторять).

– Какую, Валя? – отозвался я. – Это мне Лида рассказала, – может и вы уже слышали? Будто бы на кладбище Пер-Лашез похоронен один чернокнижник, или уж я не знаю, злой колдун... Словом, один очень богатый француз, знавший с нечистой силой и занимавшийся всякими нехорошими делами. Ну, так когда он умирал, он завещал весь свой капитал, целый миллион франков, тому человеку, который бы сорок ночей подряд согласился просидеть в его склепе. Что делать, всё равно, только быть там от зари до зари, и так сорок раз без перерыва. И деньги положил в банк, а умер он уже сто лет назад, так что сейчас выходит не миллион, а гораздо больше...

– Почему же больше, однако? – с некоторой иронией сказал я, – курс франка ведь не вырос, а упал... и очень сильно!

– А, это Лида как раз объясняла. Дело в том, что он оставил шкатулку с золотыми монетами, и ее должны передать тому, кто выполнит условия. Ну, а золото, оно наоборот, поднялось в цене.

– И никто не захотел такие деньги заработать? – с жадным любопытством спросил сосед Вали слева.

Это был Гриша, молодой человек лет двадцати, живший в нашем же отеле с сестрой и матерью. Милая, симпатичная семья, которой здорово не везло! Гриша старался учиться, мать надрывала здоровье за шитьем, чтобы хватало на жизнь ему и Кате, девочке-подростку, и сводить концы с концами им выходило очень тяжело. С грустным сочувствием я подметил, как у бедного мальчика разгорелись глаза при упоминании о миллионе франков. С непривычки выпитая водка и вино сильно ударили ему в голову, и его широкая физиономия, оттененная маленькими черными усиками и коротко подстриженными темными волосами, вся так и раз-румянилась.

– Еще бы нет! – откликнулась Валя, которой нравилось, что двое мужчин с живым вниманием слушают ее повествование, и которой хотелось поддержать интерес, – только дело-то получилось совсем нелегкое. Сколько народу пробовало, и все, один за другим, отказывались, кто через день, кто через два. Дольше всех, рассказывают, выдержала одна католическая монахиня, но и она не смогла выполнить условие: через три недели отказалась.

– Тогда, и сейчас еще, если найдется желающий, можно попытать счастье? – напряженным тоном осведомился Гриша.

– Нет, похоже, что нельзя; точно я не знаю, впрочем. Но, передает Лида, позже это запретили. Потому что одного из охотников заработать нашли в обмороке, и он, кажется, несколько повредился в рассудке. Да оно бы еще ничего... Однако, когда другой умер от разрыва сердца в том же склепе, тут уж власти вмешались и запретили туда вход. Так и остались деньги в банке, никому не в прок.

– На Пер-Лашез, – задумчиво сказал Гриша.

– Я думаю, всё это одна легенда, – скептически вмешался я; по правде сказать, его возбуждение показалось чем-то нездоровым, и что-то вроде недоброго предчувствия прошло у меня по сердцу. – Лидия Сергеевна, я уже не раз замечал, любит придумывать всякие романтические сказки.

Валя, по-видимому, слегка обиделась на мое недоверие.

– Можно было бы пойти прямо на кладбище и там спросить, – начала она было возражать.

Но тут Энвер перебил нашу беседу, затеяв хоровую песню, в которую красивое контральто Вали немедленно вступило, выделяясь на фоне всех остальных мужских и дамских голосов, звучавших немножко кто в лес, кто по дрова.

Я петь не умею и только разглядывал окружающих. Мне бросилось в глаза, что Гриша тоже молчит, сосредоточенно упершись взглядом в пустую тарелку...

* * *

В течение ближайших дней я был сильно занят и как-то отбил от жизни своего отеля; возвращался поздно вечером, усталый варил себе ужин и заваливался спать. Однажды, в сумерки, я столкнулся во дворе с Гришей и поразился. Он шел словно пьяный, неуверенный, колеблющейся походкой, и когда я взглянул ему в лицо, оно меня ужаснуло. Как бывает, когда люди внезапно худеют, щеки покрылись складками; под глазами отвисли мешки, заставлявшие его казаться почти стариком; и кожа приобрела зловещий землистый, свинцовый оттенок.

Воспоминание о Любе проскользнуло по моему сознанию. Но этот случай был, похоже, куда хуже, намного хуже...

– Что это такое с Гришей? – спросил я у Вали на следующий день. Теперь я был свободнее и рад возможности зайти к ней на чашку кофе.

Молодая женщина бросила мне быстрый взгляд своих выразительных глаз.

– Вид у него и впрямь нехороший; Бог весть, с чего бы это? А вы знаете... он такой чудак; ходил ведь на Пер-Лашез справляться про того покойника... помните, что я рассказывала...

– Ну, и что? – спросил я с деланным равнодушием.

– Правда, есть такой. – Валя, наверное, сама того не сознавая, почему-то понизила голос. – Даже фамилию узнал у сторожа... Но, как и говорила Лида, вход в могилу закрыт, строго-настрого.

Она вдруг прервала себя и быстро шагнула к двери, чтобы ее открыть. Через окно нижнего этажа, у которого я сидел, я заметил женскую фигуру у входа.

Это оказалась Ольга Михайловна, Гришина мать, еще красивая молодая женщина.

Ей надо было что-то занять по хозяйству у Вали, но она, конечно, не могла отказаться от гостеприимного приглашения присесть. После нескольких минут, речь, естественно зашла о том, что являлось сейчас, очевидно, ее главной и тяжелой заботой.

– Очень меня мой Гриша беспокоит последнее время. Прямо ну будто его подменили. Ах, уж я говорила ему: нельзя сразу и учиться, и работать, и так переутомляться. Тут, во Франции, учиться так трудно...

– Да что с ним? Может, ничего серьезного? – с сочувствием отозвалась Валя.

– Куда! Никогда не был лунатиком, и в роду такого не имелось ни у меня, ни у мужа, а теперь каждую ночь встает и рвется куда-то идти... Мы с Катей насилу его удерживаем и укладываем обратно. Ослабел совсем, а ночью мы вдвоем едва-едва с ним справляемся. Свалится с лестницы, что будет? Беда, беда сплошная... Однако, надо идти: скоро Катя прибежит из школы.

С тяжелым вздохом Ольга Михайловна поднялась с места.

* * *

Это тогда я вспомнил об инспекторе Ле Генне. Я еще колебался, но, когда однажды ночью Гришу, не вернувшегося домой, подобрали без чувств на улице, в районе Бастилии, мое решение было окончательно принято.

Признаться, я всё же чувствовал себя не совсем уверенно и уютно, и несколько раз прошел взад и вперед по узенькой и кривой улице де Соссе, прежде чем переступил порог огромного тяжеловесного здания, перешагнув, словно вступая в холодную воду.

Под внимательным взглядом сидевшего в передней полицейского, я вытащил и вручил ему паспорт.

– Инспектора Ле Генна? Да... – он взял трубку телефона. – Третий этаж, комната 217, – объяснял он мне через несколько минут.

Против ожидания, Ле Генн встретил меня чрезвычайно приветливо, как старого знакомого, без удивления или недоверия. Он слушал мой рассказ с таким тактом, что я вскоре вполне овладел своим языком и изложил ему ясно и связно все обстоятельства.

– Серьезное дело, – сказал инспектор, когда я кончил. – Я рад, что вы обратились ко мне. Но всё это не так просто. Погодите... я сейчас подумаю. Скажите, вы не могли бы зайти ко мне домой, допустим, послезавтра после обеда? Я хочу вас познакомить с одним моим другом; мы посоветуемся вместе о том, что предпринять. Хорошо? Значит, я буду вас ждать. Дайте я запишу вам адрес.

* * *

Воздух августа был тепел и сладок, как молоко. В тишине сонно пели фонтаны Люксембургского парка, среди широких аллей и скверов изумрудная зелень переливалась в неподвижном просторе, обрамленная рисующимися вдали контурами белых зданий... Моя прогулка длилась с полчаса; потом, посмотрев на часы, я подумал, что время уже подходящее для визита, и свернул к короткой прямой улице Пьер Николь. Изящные похожие друг на друга дома и прямые линии железных балконов тянулись вдоль всей ее длины. Я взглянул на номер и поднялся в один из подъездов. Квартира Ле Генна была на третьем этаже. Он открыл мне дверь с дружеской улыбкой и провел меня внутрь.

– Жена уехала к родным в провинцию, так что я сейчас хозяйничаю один. Вы разрешите предложить вам кофе? Проходите сюда, здесь мой кабинет. Будьте знакомы: мой друг, профессор Геза Керестели из Пештского университета.

Мужчина, вставший мне навстречу из глубокого кресла, принадлежал к знакомому мне типу венгра из высшего класса. Стройный и высокий, с аристократическими чертами худощавого, аскетической складки лица, с красивыми мягкими и выющимися пепельными волосами, он мог иметь, как я подумал, лет сорок, хотя казался бы моложе, если бы не серьезный взгляд карих глаз и сдержанность в движениях.

Мы обменялись несколькими учтивыми фразами – Керестели говорил на безукоризненном французском языке безо всякого акцента. Хозяин поставил перед нами по чашке кофе, предложил нам папиросы, и после этого обратился к профессору со словами:

– Теперь, Геза, расскажи нам всё, что тебе удалось узнать. От мсье Рудинского в этом деле у меня нет секретов, и я хочу, чтобы он был осведомлен как можно полнее, и мы все трое могли бы действовать сообща.

Венгр кивнул, и начал свой рассказ, заглядывая иногда в записную книжку.

– Ты уже знаешь, Шарль, но господин Рудинский, может быть, еще не знает имени того существа, которое лежит в основе наших беспокойств, и потому я первым делом уточню, что его называли при жизни Огюст Лемаршан. Нам лучше начать с его отца. Дальше я не имел пока возможности углубиться в родословную фамилии – и жаль, так как там могли бы встретиться всякие любопытные сюрпризы. Во всяком случае, Филипп Лемаршан, отец Огюста, происходил из одной деревни в Нормандии, пользующейся довольно дурной славой: еще недавно там имел место процесс ведьм.

Молодой Филипп вынырнул на сцену с началом Великой Революции, сперва у себя в провинции и быстро затем в Париже. Известен факт, что многие буржуазные семьи Франции составили свое состояние в эту эпоху, и некоторые из них не весьма почтенными средствами.

Профессор запнулся и бросил на Ле Генна несколько обеспокоенный взгляд, смысл которого тот мигом разгадал.

– Ты можешь говорить не стесняясь, старина! – воскликнул он не без некоторой обиды. – Мои предки были на другой стороне! Один из них, по прямой линии, был адъютантом де Рошжаклена⁴⁷ и убит в бою рядом с ним, на берегу Луары. А по матери я, хоть и в дальнем, но бесспорном родстве с самим Кадудалем⁴⁸, чем, признаться, горжусь.

– Итак, Филипп Лемаршан был одним из людей, которые по уши вымазались в крови 1793-го года и у которых главной целью были деньги, и денег он оставил своему сыну больше чем достаточно. Этот сын, Огюст, был эпикурейцем, решившим наслаждаться жизнью, как только можно. Эстетом в искусстве и литературе, жуиrom в светских салонах.

Огюст Лемаршан родился в Париже, в 1810-м году, когда его отцу было уже за 50 лет, причем его появление на свет стоило жизни его еще совсем молодой матери, и остался в 20 лет сиротой и наследником огромного по тому времени состояния. Тогда мир предоставлял богатому человеку возможности более интересные, чем нынче: мы мало имеем в наши дни даже представления о том, сколько в нем было свободы, красоты и комфорта! Огюст, получивший хорошее образование и привычный к обществу золотой молодежи столицы мира, был по складу характера гедонистом и желал взять от жизни все удовольствия, какие она может дать, в самом широком смысле, интеллектуальном, эстетическом и физическом.

Он прожил достаточно долгую жизнь, чтобы выполнить свой план; он скончался только в 1884-м году, на заре нового века.

– Тогда, значит, с его смерти не прошло еще ста лет, как мне говорили? – робко спросил я.

– Нет, только 70 лет. Но 70... это как раз цифра знаменательная в оккультных науках, связанная для всех темных сил с увеличением их влияния, – Керестели и Ле Генн понимающе переглянулись.

– Теперь, через такой долгий срок, нелегко восстановить второстепенные события середины прошлого столетия, хотя наш друг и дал мне к тому широкую возможность, открыв мне доступ во все архивы, полицейские и иные, – профессор сейчас обращался преимущественно ко мне.

– Общая картина, однако, восстанавливается довольно ясно. Значительную часть времени, особенно в первые годы после смерти отца, Лемаршан провел в путешествиях, включая Индию и Дальний Восток, и целые годы на Балканах, бывших тогда в большой моде. С возрастом он стал менее подвижен и прочно осел в Париже. Круг его интересов был широк: наука, искусство... но с бесспорным уклоном в сторону всего зловещего: оккультизм, демонология, вивисекция... Один из документов доказывает, что при его доме – он жил в большом мрачном особняке в Отейле – имелась тайная курильня опиума. Но там, верно, много можно было найти курьезного...

Полиция располагала почти бесспорными данными о тайных пороках, безобразных оргиях и кощунственных церемониях, ютившихся за высокой оградой этого особняка, купленного еще первым Лемаршаном, прежде принадлежавшем одному герцогу. Но его теперешний владелец был богат и влиятелен; он умел кого надо подкупить; доказать что-либо в подобных материях нелегко... а самое главное, в числе завсегдатаев и случайных посетителей были лица, которых властям никак не хотелось втягивать в скандал. Я не буду называть сановников и светские фигуры того времени; большинство из них ныне забыты. Стоит, пожалуй, упомянуть маркиза Де Кюстина⁴⁹. Но Лемаршан пользовался славой мецената и обширными связями в литературном мире. Достаточно сказать, что в разные периоды в числе гостей его салона счи-

⁴⁷ Анри дю Вержье, граф де Ла Рошжаклен (Henri du Vergier, comte de La Rochejaquelein; 1772–1794) – французский военачальник. Один из лидеров роялистов Вандеи в период Французской революции.

⁴⁸ Жорж Кадудаль (Georges Cadoudal; 1771–1804) – один из лидеров шуанов (крестьян-роялистов, восставших против Первой республики) во время Французской революции.

⁴⁹ Астольф-Луи-Леонор де Кюстин, маркиз (Astolphe-Louis-Leonor, marquis de Custine) (1790–1857) – французский писатель, путешественник. Известен своими записками «Россия в 1839 году», где страна изображена в крайне негативных тонах.

тались Жерар де Нерваль⁵⁰, Барбе д'Оревилю⁵¹, Шарль Бодлер⁵², Гюисманс⁵³, Вилье де Лиль-Адам⁵⁴, Мопассан⁵⁵ и Оскар Уайльд...

– «Les feurs du mal», «Les diaboliques», «Contes cruels», «A rebours», «Horla»⁵⁶, – невольно пробормотал я. – Самоубийство, безумие, извращение...

Мадьяр бросил мне быстрый взгляд с интересом и пониманием:

– И ведь это были, несомненно, первые по уму и таланту люди во Франции! Вы никогда не задумывались над тем, почему они все, включая и англичанина Уайльда, попали на такую скверную дорогу, всё так преждевременно и трагически погибли? Словно бы чья-то вражеская рука тяготела над их судьбой... Но ближе к делу. Смерть Лемаршана окутана какой-то тайной. Да, я уже говорил тебе, Шарль, следствие по его делу явным образом умышленно запугано, и в досье не хватает важных бумаг. Придушенный скандал... Естественная кончина или убийство? Скорее всего, несчастный случай, а мы знаем, что под таким названием нередко скрывается... Скандалом, который остался открытым, было его завещание. Вы оба уже знаете суть этого документа. Миллион франков в нынешних деньгах тому, кто в течение сорока ночей будет проводить время от 11 вечера до 7 утра внутри его склепа на Пер-Лашез!

– Условие оставалось в силе 20 лет, до 1904-го года, когда дальнейшие попытки были запрещены. За это время нашелся 21 охотник разбогатеть; большинство в первые годы... Перерыв с 1890-го по 1902-ой год странным образом последовал за появлением на сцену сестры Урсулы де Рокейроль. Эта монахиня, из ордена, посвятившего себя благотворительности, была одушевлена идеей добыть деньги для своей организации. Но через 21 день она отказалась от своего, казалось, весьма удачно начатого предприятия: до нее никто не выдерживал так долго. У нас есть свидетельство, что сестра Урсула сказала одному любопытному, что ей стало теперь ясно одно: такие грязные деньги, на которых накопилось столько греха и зла, не могут быть обращены на пользу ближнему или на служение Богу, даже если бы она и сумела ими овладеть.

– После нее про могилу и деньги Лемаршана словно забыли. Однако в 1902 году страсть к наживе вдруг вновь вспыхивает вокруг лежащего в банке, страшно выросшего за эти деньги капитала. За 1902–1903 год находится 10 человек, жаждущих легкого обогащения; до того за всё время их набралось 11. В конце 1903 года два опыта кончаются трагически. Студент-медик Анри Гардон выходит на третий день из склепа в состоянии буйного помешательства, так что его приходится прямо с кладбища отвезти в психиатрическую лечебницу, где он, как я проследил, умирает через год. Банковский служащий Пьер Морель после первой же ночи испытания оказывается лежащим мертвым; его находит на утро сторож. Именно после этого инцидента по постановлению Префектуры дальнейший доступ публики в склеп Лемаршана строго воспрещается.

Керестели сделал паузу.

– Но прекращается ли его влияние? Сперва небольшое замечание о предшествующем. Из 21-го мне удалось проследить судьбу девяти посетителей, не считая двух последних, Гар-

⁵⁰ Жерар де Нерваль (Gerard de Nerval; наст. имя Жерар Лабрюни; 1808–1855) – французский поэт, писатель, переводчик. (Покончил с собой, повесившись на фонаре в одной из парижских улочек.)

⁵¹ Жюль Амеде Барбе д'Оревилю (Jules Amédée Barbey d'Aureville; 1808–1889) – французский писатель, публицист.

⁵² Шарль Пьер Бодлер (Charles Pierre Baudelaire; 1821–1867) – французский поэт, критик, переводчик. Основоположник декаданса и символизма. (Умер от последствий сифилиса.)

⁵³ Жорис-Карл Гюисманс (Joris-Karl Huysmans; 1848–1907) – французский писатель. Первый президент Гонкуровской академии; чиновник Министерства внутренних дел Франции.

⁵⁴ Жан Мари Матье Филипп Огюст Вилье де Лиль-Адам, граф (Jean Marie Matthieu Phillippe Auguste Villiers de l'Isle Adam; 1838–1889) – французский писатель, драматург.

⁵⁵ Ги де Мопассан (Guy de Maupassant; 1850–1893) – французский писатель, поэт. (Умер от прогрессивного паралича мозга сифилитического происхождения.)

⁵⁶ «Цветы зла» (Ш. Бодлер), «Жестокие рассказы» (О. Вилье де Лиль-Адам), «Лики дьявола» (Ж. Барбе д'Оревилю), «Наоборот» (Ж. Гюисманс), «Орля» (Г. де Мопассан).

дона и Мореля. Ни один из них не прожил больше года после посещения Пер-Лашеза... За исключением сестры Урсулы, которая мирно достигла глубокой старости и скончалась в ореоле святости, настоятельницей монастыря близ Шартра. Кроме того, всё это, понятно, материал отрывочный и случайный. Иначе и быть не могло; да еще если учесть, что у меня было всего два дня на поиски! Но в старых газетах я обнаружил несколько происшествий, которые, взятые вместе, наводят на серьезные подозрения. В 1936-м году, в мае месяце, молодая девушка, Жанна Тессье, падает и умирает, видимо от разрыва сердца, во время случайной прогулки на Пер-Лашез, и – хотя это точно не указано в газетах – где-то в непосредственной близости от склепа Лемаршана. В 1940 году, зимой, пожилой мужчина, личность которого не удастся установить, кончает с собою в комнате дешевого отеля около кладбища. Я беру два инцидента наудачу. Факт, что вблизи Пер-Лашеза случаи внезапной и загадочной смерти, помешательства и самоубийств непомерно часты; и у меня есть впечатление, что они волной, расходятся всё дальше и дальше по Парижу...

Керестели кончил, и на несколько минут наступило молчание. Потом Ле Генн швырнул в пепельницу окурки папиросы и встал.

– Я предлагаю поехать сейчас на кладбище и осмотреть склеп. В такси это не займет много времени, а тогда многое станет яснее. Вы согласны?

У меня внутри неприятно захолонуло. Но профессор казался как нельзя более довольным.

– Чудесно, друг мой! Я сам хотел сказать, что без этого нам никак не обойтись...

* * *

Всё это было как в кошмаре, о котором мне и сейчас тягостно вспоминать и который почти невозможно пересказать.

Старый сторож, отпирающий тяжелым ключом каменную дверь, не сразу поддавшуюся нашим общим усилиям... Затхлый, сырой воздух, повеявший в лицо... Темная лестница вниз... бледный круг от электрического фонаря Ле Генна...

Огромный саркофаг, густо покрытый пылью, гранитная скамья вдоль стены... Мы насилу втиснулись втроем в небольшую комнату, где стоял промозглый холод... Я остался позади, тогда как Керестели и бретонец почти с жадностью устремились ко гробу.

– Смотрите! Стекло крышки... Вот чего я не ждал! – воскликнул профессор.

Когда сыщик любезно отодвинулся, давая мне место, мне ничего не оставалось, как бросить взгляд на толстое, прозрачное стекло, которое Керестели заботливо отер платком, и куда Ле Генн навел свой фонарь.

Брр... это было отвратительно... мертвец, набальзамированный, что ли? – сохранился словно живой. Нет, это был труп, это чувствовалось сразу... но все очертания иссохшего лица ничуть не пострадали от тления... и нечеловеческая, сатанинская свирепая улыбка застыла на губах... Так и чудилось, что сейчас эти пергаментные веки приподымутся, и из-под них плеснет, словно из глубины пекла, пылающий злобой взгляд...

Я вздрогнул и отодвинулся. Профессор и инспектор вполголоса деловито обменивались впечатлениями. По счастью, это продлилось недолго. Наверху нас снова встретило яркое солнце, зелень, летняя жара... но я не мог разогнать ощущение холода и с трудом подавлял дрожь. Вскоре мы сидели опять в кабинете Ле Генна. Гостеприимный хозяин, не спрашивая, поставил на стол бутылку коньяку, и разговор возобновился лишь после второго бокала.

– Итак, во всеоружии данных, дорогой профессор, какое средство ты нам посоветуешь? – спросил затем инспектор с несколько напускной веселостью.

Венгр поднял на него свои серьезные глаза и скрестил на столе перед собой длинные худые пальцы.

– Радикальной мерой, и наилучшей, было бы извлечь труп из гроба, забить ему в сердце осиновый кол, отрубить голову, а затем сжечь. Что касается пепла...

Ле Генн поднял руку жестом усталого и пессимистического протеста.

– Нет, я решительно не вижу, чтобы муниципалитет позволил мне произвести подобную операцию. Даже если бы мы обратились в министерство... Нет, поищем что-нибудь менее экстраординарное.

Геза Керестели кивнул, показывая, что он ждал подобной реакции.

– Другой способ, компромиссный, раз уж это необходимо, состоит в том, чтобы наглухо замуровать дверь в склеп при соблюдении известной процедуры. Замазка и известь должны быть приготовлены по специальным правилам... но это я могу легко устроить: у меня есть знакомые каменщики из числа наших, венгерских эмигрантов, если хочешь, приглашу двоих ребят... пусть они заодно и подработают... Идет?

Ле Генн просиял улыбкой, не скрывая своего удовлетворения.

– Превосходно, дорогой мой! Это всё вполне реализуемо. Сговоритесь с вашими парнями; им заплатят по высшему тарифу, из сумм нашего отдела «Сюрте».

– Должен, однако, тебя предупредить, что это – только паллиатив. Со временем, под действием дождя, ветра, перемен температуры, неизбежно образуются щели, если не в двери, то в стенах... и я замечал, что в подобных случаях атмосферные условия начинают действовать со странной быстротой... А первая же трещина вновь освободит силу, с которой мы пытаемся бороться.

– Что же делать! Но, по крайней мере, надо всё устроить поскорее. Если бы завтра?

– Завтра? Нет, но послезавтра, это бы я, пожалуй, мог... В полдень лучше всего. Вы хотите присутствовать? – вежливо повернулся Керестели в мою сторону.

Я почувствовал, что во мне любопытство взяло верх над страхом.

* * *

Не успел я прождать и пяти минут, бродя вокруг поросшего мхом темного и низкого здания, похожего на гриб, как на дорожке показались Керестели и двое рабочих, нагруженных какими-то инструментами, в сопровождении кладбищенского сторожа.

Сердечно пожав мне руку, профессор отдал своим спутникам распоряжения по-мадярски, сказал что-то сторожу, который отошел в сторону, и затем взял из рук одного из каменщиков предмет, оказавшийся складным треножником. Через несколько минут на нем горели сухие травы, высыпанные из принесенного Керестели мешочка, и густой ароматный дым растилался по земле и постепенно окутывал гробницу вампира. Профессор предварительно сообразил направление ветра, и сейчас громко читал вслух заклинания по нескольким манускриптам, извлеченным из его портфеля. В известный момент, – по-видимому, он принимал в расчет время и положение солнца, – он сделал знак каменщикам, и те быстро и дружно взялись за работу.

Через полчаса, осмотрев накрепко замурованный вход, мы с профессором направились к воротам кладбища. Он горбился, словно бы после целого дня утомительного труда.

– Теперь остается последнее, – сказал он мне уже на улице, – мне надо повидать вашего соседа. Вы говорите, молодой человек учится в университете и не имеет постоянной службы? Тем лучше: скажите ему, что я, может быть, найду для него работу на некоторое время, и под этим предлогом приведите его ко мне... скажем, в ближайшую пятницу.

Гриша, который последние дни выглядел заметно лучше, встретил мое предложение с энтузиазмом.

В назначенный срок мы появились в скромной квартире профессора Керестели, жившего на улице Бертеле, около бульвара Гэй-Люссак. Он нас принял очень мило и просто, и Гриша

сразу почувствовал себя совершенно свободно; что до меня, я заметил испытующий и словно оценивающий взгляд, который за разговором искоса бросал на него несколько раз венгр.

– Вы, значит, студент-биолог? – спрашивал он между тем молодого человека. – Как нельзя более удачно! Потому что работа, которую я хотел вам поручить, хотя и не требует специальных познаний, связана как раз с биологией. Вот в чем дело. Проглядите эту рукопись: мне было бы нужно, чтобы вы ее переписали от руки и внесли в нее дополнения, которые отмечены вот на этих страницах под соответствующими номерами...

Гриша сидел, утонув в мягком кресле, около маленького столика, на котором были перед ним разложены бумаги, слушал журчащую речь профессора и, казалось, из последних сил боролся с непреодолимой сонливостью. Мучительная зевота раз за разом сводила его челюсти; он всё с большим трудом разъединял слипающиеся веки, и тщетно ерзал на месте, пытаясь рассеять дремоту.

– Вы спите? – оборвал вдруг свои объяснения профессор.

– Сплю, – отозвался изменившийся голос Гриши.

– Очень хорошо, – венгр ласково положил руку на черноволосую голову молодого человека, – когда вы проснетесь, вы забудете про всё, связанное с кладбищем Пер-Лашез и могилой Лемаршана. Вы там никогда не были; вы не слыхали рассказа про его завещание. Вы ничего о нем не знаете! И вы не будете столько терзаться мыслями о деньгах, как прежде; скоро вы окончите курс, будете хорошо зарабатывать, сможете как следует поддержать мать и сестру. У вас есть молодость, здоровье и чистая совесть. Сколь многие на свете тщетно желали бы это иметь! И в ожидании, я вам помогу, так что вам не о чем беспокоиться. Теперь вы можете проснуться.

Тонкие пальцы профессора перебирали большие листы, исписанные мелким убористым почерком.

– Вы хорошо разбираете мою руку? – спросил он настойчиво.

Гриша виновато встряхнулся, проклиная, должно быть, в душе не вовремя напавший сон.

– Да, господин профессор!

* * *

На этом кончились или по крайней мере прервались на длительный срок загробные злодеяния Огюста Лемаршана с кладбища Пер-Лашез.

Допрос

*Tout ce qu'on fait à la copie, l'original en souffre, et la chair succombe
aux blessures de la cire.*

Maurice Renard, «La gloire du Comacchio»⁵⁷

– Господин Арто, я принужден просить вас отвечать на поставленные вопросы точно и в серьезном тоне. Не забывайте, что это официальное следствие.

– Постараюсь исполнить ваше требование, сударь. Но ваши вопросы носят столь странный характер... поистине, я не могу не находить их совершенно не относящимися к делу, фантастическими и неуместными.

– Предоставьте мне, в качестве полицейского чиновника, самому разбираться в допустимости и целесообразности моих действий. Во всяком случае я обязан приложить все усилия, чтобы выяснить причины, приведшие к смерти человека... в данном случае вашей жены.

– Вы можете даже сказать «бывшей жены». Вы знаете, что мы с Мадленой уже год, как разошлись, что она хлопотала о разводе и почти добила его; остались лишь последние формальности. Но вам известно также, что в момент ее гибели я находился в Париже, в бюро акционерного общества, где я служу. Тогда как она погибла вблизи Тура, в результате автомобильной катастрофы, вполне, впрочем, естественной. Каким же образом можно меня делать ответственным за этот инцидент?

Пауза.

– Разрешите мне прочесть вам выдержку из протокола. Вот... да, это место: «При столкновении легкового автомобиля с грузовиком, в результате удара, выбитый продолговатый кусок стекла вонзился в правый глаз управлявшей машиной мадам Мадлены Арто, проникнув вплоть до мозга, что и явилось причиной немедленной кончины...»

– Довольно отталкивающие подробности. Но я не вижу, что вы хотите ими доказать?

– Практикуете ли вы занятия черной магией, мсье Арто?

– Решительно, инспектор, вы или с ума сошли, или позволяете себе шутки, уж вовсе не подходящие к официальному допросу. Что, в самом деле, можно отвечать на бредовые инсинуации в этом роде? К ним просто нельзя относиться всерьез.

– Потрудитесь взглянуть на этот предмет. Знаком ли он вам?

«Предмет» лежит на столе между собеседниками, извлеченный инспектором Ле Генном из ящика, который он снова задвинул. Это – небольшая кукла из черного воска, комически одетая в элегантное платье с широким декольте, и даже в миниатюрные туфельки на каблук; золотистая длинная шевелюра из настоящих волос распущена по плечам, и метет сейчас крашеную деревянную поверхность стола. Черты лица вылеплены с большой тонкостью, и даже кажется, что на них застыло страдание. Длинная тонкая игла всажена в правый глаз.

⁵⁷ «Оригинал страдает от всего, что причиняют копии, и плоть погибает от ран, нанесенных воску». Морис Ренар, «Слава Комаккио» (*фр.*) Морис Ренар (Maurice Renard; 1875–1939) – французский писатель. Мастер фантастики, приключенческого и криминального романа, оккультных и неоготических произведений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.